

Михаил Анчаров

Рассказы 1960-80-х годов

Электронное издание

Составление, подготовка текстов и верстка Ю. В. Ревич

Для некоммерческого использования распространение без ограничений. По вопросам распространения за плату, переиздания в бумаге или иного прямого коммерческого использования материалов этой книги целиком или частично обращаться по адресу электронной почты составителя revich@lib.ru.

2018 год

От составителя

Вашему вниманию предлагаются рассказы Михаила Анчарова, написанные им на протяжении 1960-1980-х годов и опубликованные в различных журналах и газетах. Так как существенная часть этих изданий не находилась в фокусе внимания читающей публики в те времена, а для современных читателей остается и вовсе недоступной, то рассказы Анчарова остаются неизвестными даже большинству его поклонников. Тем не менее, как нам представляется, они образуют отдельную и очень яркую главу в его прозе, которую сам Михаил Леонидович был склонен недооценивать. В конце жизни он использовал многие рассказы в качестве заготовок для вставки в более крупные произведения, чем, по собственному признанию, закрыл для себя возможность их переиздать в отдельном сборнике. Мы решили восполнить этот явный пробел.

В сборнике представлены все опубликованные рассказы Анчарова, за исключением двух ранних (и на наш взгляд, чересчур привязанных к конъюнктурным требованиям времени): «Барабан на лунной дороге» («Смена» №11, 1-15 июня 1964-го) и «Два постскриптума» («Вокруг света» №2, 1966).

Составитель выражает признательность Виктору Шлемовичу Юровскому за многолетнюю работу в архивах, которая и сделала возможной эту публикацию.

Ю. В. Ревич <revich@lib.ru>

Венский вальс

• Рассказ «Венский вальс» впервые опубликован в журнале «Смена» № 21 (1-15 ноября) 1964 года. Перепечатан в сборнике: Приключения: Сб приключ. повестей и рассказов / Сост. В. М. Понизовский. М. Молод. гвардия, 1969 («Приключения-69»).

В 1976 году по этому рассказу на Гостелерадио был поставлен радиоспектакль «Венский вальс».

После того, как снаряд попал в МГУ и перебил мне ноги, я пополз по планете, залитой тавотом. Пятно тавота на грязном снегу — вот все, что осталось от моей МГУ, от Мощной Говорящей Установки, через которую я целый час агитировал немцев сдаваться и заводил им вальсы Штрауса. Это было не под Берлином, а под Москвой, возле деревни Репиши, от которой осталась одна изба.

Я доползу до нее и, перевалившись через порог, проведу в этой хате остаток своих дней. Судя по тому, как быстро немели ноги, этот остаток исчислялся минут в двадцать. Ровно столько, сколько осталось до нашего наступления. А я свое дело сделал. Мотался по нейтральной полосе на грузовике и отравлял эфир вальсами Штрауса недалеко от моста, который, вообще говоря, следовало бы взорвать, чтобы перекрыть дорогу их танкам.

Я полз и бормотал, что «в этот миг перед его мысленным взором проносились все его прошлое», а сам думал только о будущем. Я знал, что перед уходом в иной, лучший мир человек должен предаваться воспоминаниям о прошлом. Но я думал только о будущем, о моем лучшем мире, о тихом уголке, вроде этой избы, где проведу я остаток своих дней, где можно будет наконец устроить свою личную жизнь. Я вполз в пустую избу, с трудом втащил на заплыванный пол (вероятно, здесь побывали саперы) усовершенствованную мной рацию, и силы начали помаленьку оставлять меня. Внезапно за окном раздалось фырчание и кашель мотора, у которого вышел весь бензин. Потом послышались шаги. Вошел немецкий офицер в русском тулупе внакидку, держа в руках два пистолета «Вальтер». Он скинул тулуп на пол и остался в шинели с эсэсовскими нашивками. У меня задрожали веки, и я прикрыл глаза. Я узнал «красавца мужчину», человека с усиками, который увозил в машине Катарино. Сквозь ресницы я увидел, как эсэсовец вытащил из кармана еще два пистолета и положил их на скамью. Потом он огляделся и направился ко мне. Он наклонился, вытащил из моей кобуры «ГТ» и сунул его в карман шинели вместе с запасной обоймой. Потом он опустился возле меня на корточки, скрипя, щегольскими сапогами. Я чувствовал на себе его взгляд. Эсэсовец расстегнул у меня карман гимнастерки и вытащил солдатскую книжку и комсомольский билет. Я не выдержал, открыл глаза и понял, что эсэсовец узнал меня: он держал в руках карточку Катарини.

— Агитатор... — говорит фашист, глядя на меня угрюмыми глазами. — Прекрасно...

Я с ненавистью гляжу на его проклятые усики и, собрав все силы, плюю в его холеное лицо. Но сил у меня мало, и плевок, не долетев, падает на кончик начищенного сапога. Эсэсовец берет мою ушанку и вытирает сапог. Он всегда был чертовски аккуратен. Потом, взяв меня под мышки, он тащит меня в дальний угол, и я стараюсь не стонать. Он кладет мой пистолет рядом с другими на скамью. Вытаскивает из запасной обоймы один патрон, обойму кладет на скамью, а патрон прячет под шинель, в карман френча. Он всегда был чертовски аккуратен. После этого он раздвигает саперной лопаткой доски пола и опускает в щель мою солдатскую книжку и комсомольский билет. Взяв за ляжки тяжелую рацию, он волочит ее по полу в мой угол, и она почти совсем загоразивает меня. Потом он идет к двери и останавливается, заложив руки в карманы шинели. Снаружи слышны голоса немецких солдат и топот ног. Дверь открывается, и на пороге показывается эсэсовский офицер.

— Хенде хох! — говорит он, поднимая пистолет.

Но у «красавца мужчины» два раза польхает пламенем карман шинели, и вошедший офицер валится лицом вперед, не успев выстрелить. А человек в эсэсовской форме закрывает ногой дверь и накидывает шеколку. Дверь мгновенно прошивается автоматной очередью. Я закрываю глаза и слышу крики солдат, неистовую дробь автоматов, звон стекла и редкий треск пистолетных выстрелов, гулко раздающихся в пустой избе.

«В эти мгновения прошлое стало проноситься перед моим мысленным взором». Так, кажется, пишут в плохих романах. Это прошлое было, как старая кинолента, все в дождике царапин от многочисленных просмотров.

Тогда мальчишкам по ночам снилась Испания. В одесском порту таможенники вылавливали школьников, пробиравшихся на пароходы. Пароходы привозили революционных эмигрантов со всего мира. Репродукторы ревели «Катюшу». По сходням спускались черноволосые дети. И женщины, с глазами, горящими, как у Пассионарии, кутали их в клетчатые пледы. Как раз в это время я влюбился. Это случилось, как удар грома.

Послышался удар грома. Первые капли дождя упали на асфальт, и люди кинулись в подворотни. Я поспешил в подъезд. И тут я увидел девочку. Я никогда еще не встречал таких. Она была моих лет. Блондинка с голубыми глазами, как на картинке. Девочка почувствовала мой взгляд и повернула голову. Она была не такая, как все. Обычно девочки отворачиваются, если на них смотрят мальчишки. А эта глядела на меня открыто и дружелюбно. Я хотел что-то сказать, но не сказал. Девочка улыбнулась мне приветливо, вышла на асфальт и, спокойно перейдя двор под дождем, скрылась в подъезде противоположного дома. Я проводил ее взглядом, потом кинулся за ней. Вбежав в подъезд, я успел заметить, как девочка вошла в квартиру на втором этаже. Я напрасно ждал ее. Может быть, она вышла через черный ход. Много дней я слонялся около подъезда, надеясь встретить ее еще раз, но девочка больше не появлялась. Много раз я поднимался на второй этаж этого дома, но не решался позвонить. А если бы и решился, то побоялся бы спросить о ней.

Я вожусь с учебниками. Мама входит в комнату, кладет на стол портфель с чернильной кляксой и устало поправляет волосы.

- Алеша, ты обедал?
- Ага.
- Устала... Шесть часов сегодня. Пятые классы самые тяжелые, — говорит она. — За квартиру уплатил?
- Ага.
- «Ага»... — говорит она грустно. — До чего ты неотесанный... Вот что, мне сейчас сдавать зачеты. Пойдешь со мной.
- Куда? — удивляюсь я.
- К нашему Краусу на дом. Он австриец, преподает у нас на заочном... Два года всего, как приехал. Посмотришь на культурного человека. Хоть манерам поучишься. Переодень рубаху.
- Чего это я пойду? — говорю я, рассердившись.

Мы с матерью идем по переулку. Бульжная мостовая уходит под уклон. На одной стороне, среди деревьев, стоят деревянные дома, на другой — одинаковые четырехэтажные корпуса, покрытые розовой штукатуркой. Угловые балконы выкрашены в белый цвет. Мы сворачиваем в зеленые ворота и идем к корпусам по песчаной дорожке. Песок скрипит у нас под ногами. Проплывают зеленые палисадники, за которыми ничего не растет. С деревянных ящиков на балконах поглядывают анютины глазки. Мы подходим к подъезду, и мать озабоченно поправляет мне ворот новой рубахи.

— Держись как следует, — говорит она. — Не отвечай «ага»... Руки в карманах не держи.

Дверь нам открывает высокий человек, похожий на артиста Жакова.

Сухое лицо. Чуть вздернутый нос с длинными ноздрями. Трубка во рту. Модная куртка на молниях.

Увидев маму, он вынул трубку изо рта и приветливо улыбнулся,

— Пожалуйста, пожалуйста. Ваши уже здесь, — сказал он и, пропустив ее в дверь, поцеловал у нее руку.

Мама торжествующе посмотрела на меня.

— Это мой сын, — сказала она. — Алеша.

— Очень приятно, — ответил Краус и, как равному, пожал мне руку. — Краус.

Мы прошли в большую, светлую комнату, где стояла тахта, письменный стол с вращающимся креслом и длинная полка с книгами в пестрых обложках.

Из соседней комнаты доносились голоса, повторяющие спряжения глаголов в инфинитиве. Мать с Краусом начали говорить о чем-то, но я не слышал ничего. Я смотрел на фотографию над столом. На ней была та самая девочка, и глаза ее смотрели спокойно и печально.

— Познакомься, Алеша. Это моя дочь, — как в тумане доносится голос Крауса.

Я багровою, отворачиваюсь от фотографии и багровою еще больше. Прямо передо мной стоит та самая девочка и весело смотрит на меня.

— Катарина, — говорит она и протягивает мне руку. — А вы Алеша?

— Ага, — отвечаю я.

— Вот вам билет на два лица, — говорит Краус. — Сегодня у нас в институте интернациональный вечер.

...По ночам мальчишкам снилась Испания. Пароходы привозили эмигрантов со всего света...

На интернациональном вечере хор пел «Красный Веддинг», хор пел «Болотные солдаты», хор пел «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах...»

— Я им еще покажу! — говорю я Катарине.

— Кому?

— Фашистам.

— Если бы ты знал, какие они! — говорит Катарина, и в голосе у нее отращение. — Если б ты знал!..

...А как я ее ревновал! Господи, как я ее ревновал! Мы были одногодки, но я был мальчишкой, а она взрослой девушкой. Нам уже было по семнадцать лет. На нее многие обращали внимание, а на меня — только она одна. Я до сих пор не понимаю, что она нашла во мне. Мы любили друг друга. Это выяснилось, когда мы готовились к экзаменам за девятый класс.

В этот день мы с учительницей Анастасией Григорьевной должны были повторять пройденное. Но я не стал повторять пройденное, а, услышав свист за окном, пробежал по партам и прыгнул в окно со второго этажа прямо на кучу угольного шлака. Я сам научил Катарину свистеть в два пальца.

Мы пошли в Измайловский парк, где в летнем кинотеатре еще шел «Большой вальс». Катарина его очень любила. Особенно то место, где вдруг странный, гибкий, как хлыст, человек в клетчатом сюртуке пролетал по столикам кафе на эстраду и взмахивал длинными руками.

— Я люблю тебя, Вена! — вскрикивал он высоко и пронзительно.

И в ответ ему вскрикивали смычки:

— Горячо, неизменно...

На экране взлетали вверх белые рукава. Летели в танце высокие женские ноги. Пол качался, как в бурю, и волны юбок плескались пеной кружев. А высокий певец на эстраде все махал руками и пел, пел, сверкая из-под усов белыми зубами, и изгибался в такт Большому вальсу.

— Мое чувство нетленно... Я в Вену влюблен...

И горячие женские глаза глядели с экрана хмельно и тревожно.

Потом толпа вываливала из дверей кинотеатра на горячий асфальт, люди толкались и смеялись, и гремел в репродукторах гимн старой веселой Вены, где еще и слыхом не слыхали о фашистах.

Держась за руки, мы шли по песчаной дорожке, которая вела туда, где среди зелени деревьев искрился и плавился измайловский пруд и колыхались лодки.

Мы услышали крики издалека.

— Лешка!..

Группа ребят и девочек стояла на дорожке с велосипедами и махала руками.

— Это наши, — сказал я. — Пойдем к ним.

Мы подошли к ребятам.

— Мы твой велосипед пригнали, — сказали они.

И унеслись по шоссе.

Мы с Катариной пошли по дорожке. Она погладила никелированный руль.

— Как покататься хочется! — сказала она.

— На.

— Я не умею.

— Эх, ты!

— У меня никогда не было велосипеда.

— А-а...

Мы пошли, держа велосипед с двух сторон.

— Знаешь что? — говорю я. — Прости меня, я дурак. Знаешь что? Давай я тебя на раме покатаю, хочешь?

Катарина радостно кивает головой.

Я подвожу велосипед к скамейке. Она встает на скамейку и садится на раму, свесив ноги в одну сторону. Я разгоняю велосипед. Катарина вцепилась в руль и смотрит вперед. Я вскакиваю на седло и выезжаю на дорогу. Рядом с моей щекой — горячая щека девушки.

Шоссе идет чуть-чуть в гору, и я с усилием кручу педали. Я тяжело дышу. Велосипед катится медленно. Мы едем молча.

— Катарина, я тебя... — говорю я, — давно хочу спросить...

Дорога ползет нам навстречу.

— О чем? — спрашивает Катарина.

— Откуда ты знаешь русский язык? — спрашиваю я бодрым голосом.

— А-а... — говорит Катарина и переводит дух. — Его мой папа знает с молодости.

— Как с молодости? — удивляюсь я.

— Он в России в плену был. А потом в Интернациональной бригаде.

— Это же в Испании Интернациональная бригада.

— Нет. Сначала в России была.

— Я не знал, — говорю я. — Значит, первая?

— Нет, — говорит Катарина, — первая в Парижскую коммуну была. В ней русские участвовали.

Из последних сил я жму на педали. Мы поднимаемся в гору.

— Ты все знаешь, — говорю я. — А я ни хрена. Учусь-учусь — и все ни хрена... Ну теперь буду читать только нужное. К черту всякую технику!

— Не смей, — тихо говорит Катарина и поворачивает ко мне лицо. — Если ты меня... уважаешь, не смей.

Лицо Катаринины очень близко от моего лица, и мне трудно управлять велосипедом.

— Ты очень много знаешь, — говорит Катарина. — Это я ни... ни хрена не знаю.

Эх! Вы бы послушали, как она осваивает новые слова! Помереть можно было, до чего у нее это здорово получалось!

— Если б не ты, я бы радисткой не стала... второго класса.

— Радисткой, — говорю я. — Это для детей.

Она внезапно отворачивается, опускает голову, будто я сказал что-то не-дозволенное.

— Все люди где-нибудь участвовали, — говорю я. — Видели настоящую жизнь. Один только я, как пентюх.

Наконец гора окончилась, и начинается спуск. Велосипед набирает ход.

— Знаешь, как я тебе завидую... — говорит Катарина. — Эх, ты!

— Прости меня, я дурак.

Мы мчимся под гору по гладкому Измайловскому шоссе. Деревья и заборы дач проносятся мимо, сливаясь в мутную полосу.

— Я тебя люблю, — говорю я. — А ты?

Шоссе летит на нас серой лентой.

— А ты?.. — повторяю я.

Волосы Катаринины отдувает ветром мне в лицо, и я плохо вижу.

Наверное, ее тревожит мое тяжелое дыхание, и она пытается соскочить с велосипеда. Но Катарина в кольце моих рук, лежащих на руле. Руль начинает вихлять, и объятие становится сильнее. Впереди я вижу наших ребят. Они стоят у дороги.

— А ты?.. — настаиваю я. — Скорей...

Катарина дрожит и нащупывает носком туфельки переднюю вилку.

Дзинь!.. Вылетают четыре спицы. Я жму на тормоз. Велосипед останавливается на самом краю кювета... Я опускаю руки, и Катарина соскальзывает на землю. Мы стоим тяжело дыша и не глядя друг на друга.

Подбегают ребята.

— С ума сошли?! — кричат они. — Чуть не расшиблись!

Девочки окружают Катарину. Кто-то из ребят наклоняется к колесу.

— Четыре спицы, — говорит парень. — Теперь не поездишь. У тебя что, тормоз отказал?

— Да, — устало отвечаю я.

Постепенно страсти утихают, и мы все движемся по дорожке, ведя в руках велосипеды. Мы с Катариной идем последними. Некоторое время мы молчим. Потом я снова говорю:

— Ты мне ничего не сказала.

— Я скажу, Алеша...

— Когда?

— Приходи сегодня вечером к нам, — говорит Катарина.

Краус открыл дверь и увидел меня, нарядного и причесанного.

— А-а, — сказал он, — это ты...

Я протягиваю руку. Краус пожимает ее. Я напряжен, взволнован и поэтому не замечаю сдержанности Крауса. Я вхожу в комнату и оглядываюсь.

— А Катарина где?

— У себя, — говорит Краус. — Погоди...

Раздается звонок, и Краус идет открывать.

Оставшись один, я отворяю дверь в соседнюю комнату и останавливаюсь на пороге. Катарина, в новом платье, в туфлях на высоком каблуке, застегивает шелковый чулок. Она быстро поднимает голову, и мгновение мы смотрим друг на друга. Потом она резко опускает платье, и я отступаю назад, прикрывая дверь.

Я слышу голоса и поднимаю голову. В комнату входят Краус и незнакомый светловолосый мужчина лет тридцати. Он одет в элегантный костюм. Через руку у него перекинут плащ.

Встретив мой настороженный взгляд, он кланяется.

— Катарина готова? — спрашивает блондин.

— Переодевается, — отвечает Краус.

Блондин смотрит на часы.

— Извините меня, — говорит он. — Я чертовски аккуратен. Это моя слабость.

У него крошечные усики и твердый рот. Он не только чертовски аккуратен, он чертовски красив. Я чувствую, как у меня от гнева начинают округляться глаза. Мы все трое молчим.

Входит Катарина. Я поворачиваюсь к ней. Но это не прежняя Катарина. Это красивая, нарядная, немного бледная молодая женщина. Совсем чужая. Она проходит мимо меня, и блондин, улыбнувшись, пожимает ее протянутую руку.

— Катарина... — говорю я.

Все оборачиваются ко мне. На меня, видимо, тяжело смотреть.

— Разве ты не сказала ему, что уходишь? — сурово опрашивает Краус.

— Я же не знала, — тихо отвечает Катарина.

— Она не знала, — подтверждает блондин.

Никто теперь не смотрит на меня.

— Катарина... — говорю я. — Разве ты забыла?

— Мы опаздываем, — мягко говорит блондин.

Я смотрю на его отвратительные усики.

— Вы не опоздаете, — говорю я. — Вы всюду успеете. Вы чертовски аккуратны.

— Ну-ну, малыш... — улыбаясь, говорит блондин, но глаза у него холодные.

Я делаю шаг вперед.

— Алеша!.. — громко говорит Катарина.

Я смотрю на нее. В глазах Катарины отчаяние.

И тогда я ухожу.

Я сбегая по лестнице, выскакиваю из парадного и, остановившись у ворот, затравленно оглядываюсь по сторонам. Сумрачный вечер в переулке. Черная «эмка» стоит у ворот. Бульжники мостовой текут вниз по переулку и сворачивают за угол. Я стискиваю кулаки. Из ворот выходит Краус с Катариной и блондин. Красавец мужчина подходит к черной «эмке», отворяет дверцу, и Катарина, не глядя на меня, садится в машину. Ко мне подходит Краус.

— Того, о чем ты думаешь, — не бойся, — говорит он. — Я тебя в обиду не дам. Ты мне веришь?

Я смотрю в землю.

— Красавец мужчина, — говорю я. — Кто этот тип?

— Случайный знакомый. Проездом на один день. Надо его сводить в театр. Будь молодцом, Алеша.

Краус пожимает мне локоть и идет к машине. А я направляюсь домой и слышу, как у меня за спиной, фырча, отъезжает в противоположную сторону машина, увозящая Катарину.

«Случайный знакомый», — сказал тогда Краус. Несмотря на эсэсовскую форму, я узнал его сразу, когда он вошел в мою хату с краю. А есть ли вообще такая хата?..

Раннее утро. Деревья стоят в росе. Школа еще пустая. Дверь в радиоузел, где я вожусь с радиолой, открылась, и вошла Катарина.

— Здравствуй, — сказала она. — Не сердись на меня. Я не хотела, но я не могла иначе.

Она пришла ко мне в это раннее утро, свежая и веселая. Попросила завести «Я люблю тебя, Вена». Закружилась по комнате. Мне больно смотреть на нее, так она хороша, и я отвожу глаза. Она останавливается.

— Я бы этот вальс до смерти танцевала, — говорит она. — Самый мой любимый вальс... А твой?

— Конечно, — отвечаю я.

— Обещай мне... если ты когда-нибудь будешь в Вене, прийти к памятнику Штраусу.

— Разве мы не вместе придем? — спрашиваю я. — Когда произойдет мировая революция...

— Конечно, — быстро отвечает Катарина. — Знаешь что? Хочешь меня поцеловать?

Я не сразу понимаю услышанное и смотрю на нее почти испуганно.

— Ну?.. — говорит она.

Я поднимаюсь и медленно иду к ней непослушными ногами. Катарина закрывает глаза. Я обнимаю ее, и она откидывает голову. И тогда мы целуемся долго-долго, пока не задыхаемся...

...Раздается удар колокола, и мы отрываемся друг от друга. Слезы катятся у нее из глаз. Мы стоим на платформе вокзала, и вагоны окутаны легким туманом. Перрон блестит, как зеркало. Катарина уезжает. Куда мне не сказали. Я мог бы даже не знать, что она уезжает. Но Катарина настояла.

— Прощай, — говорит Катарина. — Последний звонок... Помни меня...

— Всегда... — говорю я.

Она поворачивается и бежит к поезду, где ее ждет Краус в мокром плаще и в берете. Она входит в вагон. Поезд тихо трогается. Стоящий поодаль военный подходит ко мне. Обняв меня за плечи, военный ведет меня к вокзалу по опустевшему перрону.

Это случилось весной, когда в школе был первомайский вечер. В тот вечер меня приняли в комсомол. В зале горит свет. Школьники стоят между рядов. «Это есть наш последний и решительный бой, — поют школьники. — С Интернационалом воспрянет род людской...» Гимн заканчивается. Стулья расставляют по стенкам.

— Вальс! Вальс! — кричат веселые голоса.

Я мчусь в радиорубку.

В зал входит строгий человек. Это директор школы. К нему подходит моя учительница Анастасия Григорьевна.

Директор смотрит на нее.

— Катарина погибла,— говорит он.

Рисунки О. ВУКОЛОВА



Они все хорошо знали Катарину. Директор был знаком с Краусом.

— Что? — спрашивает учительница.

Она мне потом рассказывала, что наступила удивительная тишина. Она мне потом все подробно рассказала.

— В Испании. Краус письмо прислал. Где Алеша?..

Учительница берется рукой за горло.

— В радиоузел пошел... пластинки ставить, — глухо объясняет она.

— Скажите ему, — говорит директор.

— Нет! — говорит учительница. — Нет!

— Проводите меня, — говорит директор.

Они медленно поднимаются по лестнице, как будто несут гроб. Звуки зала становятся все тише. И кажется, этим двоим никогда не одолеть последних ступенек. Они входят в полутемный коридор, и паркет скрипит у них под ногами. Они идут мимо учительской, и луна светит в застекленные двери.

Это было давным-давно, и вот как это было, товарищи. Скрип половиц становится, как гром. Они подходят к двери в конце коридора, на которой висит

табличка «Радиоузел». Около стены стоит велосипед вверх колесами, приготовленный для починки. Инструменты лежат на газете. Директор открывает дверь и входит. Я оборачиваюсь к нему с пластинкой в руках.

— Здравствуй, — говорит он и тяжело садится на стул.

— Здравствуйте, — отвечаю я.

Директор смотрит в пол.

Учительница молчит. Я взглядываю на нее, и у меня начинает дрожать пластинка в руках.

— Поздравляю, — говорит директор. — Ты теперь комсомолец.

— Спасибо.

Директор не сводит глаз с пластинки, которая дрожит все сильнее.

— Алеша, положи пластинку.

Как бы нехотя я кладу пластинку на радиолу и ставлю адаптер.

— Краус письмо прислал, — говорит директор.

— Я понимаю, — говорю я, глядя на вращающийся диск и повторяю: —

Краус письмо прислал.

Учительница пятится назад и притворяет дверь. Она пятится назад, задевая бедром педаль велосипеда, и колесо начинает вращаться с легким треском. Она пятится назад, подальше от этой двери, за которой мальчику разбивают сердце, и останавливается в коридоре. И тут за дверью начинается песня. Сначала она звучит тихонько, потом громче. «Я люблю тебя, Вена...» — запекает голос. И учительница не сразу понимает, что это пластинка. «Горячо, неизменно»... Кажется, голос звучит кощунственно. Но вальс, который просили поставить ребята, становится все громче. Гремит этот Венский вальс. Вот он уже гремит в рупорах в золотые трубы. Он звучит все громче, все яростней. Он звучит, как сопротивление смерти. В уши бьет тишина. Это захлопнулась дверь. А снизу, из дальнего зала, эхом доносится музыка Венского вальса...

...Пули откалывают щепки от потолка, и они падают мне на лицо. Потом треск пушечных выстрелов смолкает. Смолкает и автоматная стрельба. Я открываю глаза. Эсэсовская шинель с тлеющим карманом лежит на полу. Однако красавец мужчина жив и даже, по-моему, не ранен. Он достает из кармана френча последний патрон и аккуратно вводит его прямо в ствол моего «ТТ». Он снимает фуражку и приглаживает волосы. Он всегда был чертовски аккуратен. Во дворе немцы кричат, чтобы он сдавался. Он оборачивается ко мне.

— Прощай, малыш... — говорит он. — Молодец, что плюнул... Плевали мы на них!

Он закладывает ствол пистолета себе в рот, и я закрываю глаза, чтобы не видеть, как выстрел разносит ему затылок. Я слышу, как с топотом вваливаются немцы, как они что-то мягкое волокут вон из избы, как на дворе начинается возня, брань и крики. И тут чудовищный грохот сотрясает воздух, и стена избы отворачивается в сторону, как дверца шкафа, и становится виден берег, где над мостом растет черная туча взрыва. Я понял: их танки уже не пройдут, и сейчас начнется наше наступление.

Да, он всегда был чертовски аккуратен!

...Я очнулся потому, что женское лицо склонилось надо мной и милый голос сказал по-русски: «Гося, примите раненого...» Нежные руки поднимают меня с пола, им помогают другие руки. Меня укладывают на носилки и выносят из избы. Я вижу колонны солдат, которые движутся по шоссе в белых полуботках, окутанные паром. Танки скрежещут на поворотах. Когда меня пронесут по двору, я вижу военных и штатских, которые стоят без шапок, опустив головы, около человека в эсэсовской форме, лежащего на земле с лицом, закрытым фуражкой. Рядом солдаты заканчивают рыть могилу. Один из полковников, наклонившись, отбрасывает в сторону эсэсовскую фуражку и накрывает его лицо своей фуражкой со звездой. Последний раз я вижу белое, как мел, лицо этого человека и усики, темные от крови.

Есть такая молодая женщина, ее зовут Катя.

Мы с ней кончаем читать на стенде сегодняшнюю «Правду» и идем по улице, взявшись за руки. Некоторые ходят под руку. Это ерунда. Или она ведет его под руку, и тогда у него вид глупый, как у именинника, или он ведет ее, и тогда у нее вид какой-то неискренний. Ходить надо, держась за руки. Это проверено. Мы идем по улице, и на газетных листах опять забастовка в Каталонии, демонстрации в Астурии. У ребят моего поколения от слова «Испания» до сих пор подбородки трясутся. Первая погибшая любовь не забывается.

Мы идем с Катей, и она говорит:

— Астурия...

Она говорит:

— Каталония...

Я говорю:

— Ты понимаешь, что означают эти слова?

— Да,— отвечает она.— Понимаю.

Ведь я ей рассказал все. И я верю Кате. Надо верить.

Корабли

• Рассказ «Корабли» впервые опубликован в еженедельнике «Неделя» №44 (24-31 окт.) за 1965 год. Перепечатан в 1969 году в альманахе «Мы — молодые» (Мы — молодые: Альм. / Сост. В. Гейдеко, О. Воронова. М.: Мол. гвардия, 1969) и в 1970 году в сборнике из одиннадцати рассказов, печатавшихся в разное время в «Неделе» (Одиннадцать рассказов / Сост. Ан. Макаров.. М.: Известия, 1970).

Телефонная трубка у нас орёт на всю квартиру, и голос на том конце провода слышней, чем голос в коридоре. Это Витальке звонит девочка. Не успеешь оглянуться — и вот уже Витальке звонят девочки. Сначала был один голос и длинные паузы, потом пошло много голосов и разговоры без пауз. Теперь опять остался один голос. С трещинкой. Я стал узнавать его. Постороннему человеку слышно, как они всё время обижают друг друга. Они ещё не знают, что нельзя безнаказанно обижать друг друга, можно доиграться до любви. Они уже сопротивляются тому, что на них движется, но ещё не могут понять, почему их так тянет обижать друг друга. И постороннему человеку, который слышит их разговоры, хочется сказать: берегитесь, глупцы.

Я человек посторонний. Я его дядька. У меня есть опыт. Любовь моя тютю. Нет её. А была она? Судя по тому, как тяжело обо всём вспоминать, наверно, была. Я Витальку знал с самого детства, но познакомился только после Нового года. Как раз тогда, когда она кончилась, моя любовь. Мне он был неинтересен до этого момента, да и я ему, вероятно, тоже. Шли на параллельных курсах. Он — дитя огромной бессмысленной семьи, где в будни выясняют отношения после работы и только слышно за стеной дыр-дыр-дыр, а в праздники слащавый гомон в коридоре, когда жёны друзей снимают пальто, и из кухни запах свиного холодца. А через пару часов топают ногами и визжат. Сколько лет прошло уже. За это время молодёжные журналы боролись с танцем линда, потом с буги-вуги, с рок-н-роллом, с твистом, а впереди назревают бои с мэдисоном, а Виталькино семейство и его гости всё равно все танцы одинаково топают, и снизу звонят соседи, что у них люстра сваливается. А два гостя борются за трубку — один извиняется за шум, а другой всё хочет выругаться. Эти два гостя уже лысые давно, а ничего не изменилось. Только Виталька всё рос и рос, а у меня помаленьку кончалась любовь.

В январе я получил повестку из военкомата. Странное щекотливое чувство испытываешь, когда получаешь повестку. Немного болезненное и вместе с тем где-то в глубине — приятное. Раздражаешься оттого, что она нарушает ритм жизни, правильной гражданской жизни, и вообще какого чёрта, почему я должен выполнять чью-то волю, когда даже свою выполнить не удаётся, и потом такая потеря времени, а времени так мало, а выдумок, которые хотелось бы осуществить, так много. А с другой стороны, где-то в тебе просыпается старый полковой конь. Не очень-то устроен ты в жизни, не много ласки видел, не часто

тебя холили, да и сена не всегда хватало, а вот, поди ж ты, бьёшь копытом при первом звуке трубы.

Офицерская учёба в этом году была в помещении моего института. В старом здании. У студентов были каникулы, и аудитории стояли пустые, только двоечники шушукались в коридорах. Странное, непередаваемое ощущение: спутанность времён, и затронуты какие-то важные струны. Ведь всё позади: и армия, где протрубил семь лет, и институт — ещё шесть лет, и вот они снова появились как во сне, и его можно потрогать, этот сон, и он не рассеивается. Стенные газеты в коридорах, где клеймят недавших зачёты и призывают вступить в факультетский джаз, и грохот стульев в аудиториях, когда команда — смир-но... и протяжное... товарищи офице-эры... Я поднимаюсь и ем глазами начальство, которое идёт к кафедре. Это Васька Гордеев, которому я когда-то выписывал увольнительную в город и однажды дал по физиономии, когда он заснул на посту, и он меня благодарил за это. Странно, не правда ли? Но это было в 43 году, и он отделался оплеухой и не пошёл под трибунал. И вот теперь он моё начальство на две недели, и на носу у него пенсне, как у нашего покойного генерала, и я ем его глазами и две недели буду слушать, как он преподаёт мне военные новшества, а потом напишу контрольную, и он, может быть, поставит мне зачёт. А через две недели он позвонит мне по телефону и скажет: «Слушай, надо бы встретиться». «Факт, — скажу я. — В одном городе живём. Глупо». И опять встретимся на следующих офицерских сборах. Поиняли товарищи офицеры, хотя одежды на всех довольно роскошные, всякие там меховые воротники и заколты на галстуках.

А потом, когда было кино и дымный луч проектора был как прожектор и на экране показывали то, что мы знали гораздо лучше, чем сценарист и режиссёр из научпопстудии, потому что они знали только технику, которую им разрешили показать, а мы знали поведение человека на войне, в темноте перегнулся староста нашей группы и сказал: «Слушайте, парни, пора ретироваться». И мы под покровом темноты, прорезанной пляшущим лучом проектора, выскользнули в коридор как тени, и не скрипнула ни одна паркетина расшатанного институтского пола. Потом уже у витых перил, под которыми внизу мерцала мраморная лестница и над которыми вверху мерцал стеклянный купол, мы посмотрели друг на друга и увидели сонные, спокойные лица, привычно скрывающие напряжение, и жизнерадостно посмеялись. Потому что среди нас оказался уважаемый лектор, гвардии подполковник в пенсне Васька Гордеев.

— Старая школа, — удовлетворённо сказал староста группы.

— Лысый ты чёрт, — сказал я старосте.

— Да и ты, слава богу, протёрся, — сказал староста и отдал подполковнику журнал.

— Пойду, товарищи, — сказал Гордеев. — Мне неудобно. Тут все мои студенты.

— Нет, не пойдёшь, — сказал я. — Мы сейчас спустимся в ваш научный буфет и выпьем за товарища Степанова, за начальника десанта, за нашего покойного генерала.

Гордеев снял пенсне и замигал глазами.

— Ребята... — сказал он. — В нашем буфете только пиво.

Потом мы выпили горького пива в буфете самообслуживания и вспоминали и то и сё, и съели свои бутерброды с кетой и пшённую кашу с котлетами. А потом мы попросились с Васей Гордеевым и пошли искать укромного местечка, чтобы переждать научно-популярную кинокартину, которая всё шла и шла и никак не могла кончиться; и не проходило чувство горечи, наверно, от пива, и нам надо было переждать где-то, чтобы не подводить подполковника, у которого было пенсне, точь-в-точь как у покойного генерала. А пальто нам не выдавали до конца занятий, потому что начальство знало: у этих товарищей офицеров замашки остались все прежние, военных десятиклассников 41 года.

У какой-то балюстрады стоял стол, и там занималась прекрасная студентка. Она поглядывала на наши манёвры и усмехалась понимающе.

— Слушайте, — сказал я. — Мы — беглецы. Где здесь какой-нибудь стог сена, чтобы укрыться? Вы с какого факультета?

— С экономического.

— А почему вы сценарий читаете?

Она затуманилась:

— Я знакома с одним сценаристом.

— У нас с кино сложные отношения, — сказал староста и, перегнувшись через балюстраду, подмигнул нам. Мы посмотрели, а там у раздевалки бродили толпами товарищи офицеры, которые томились в ожидании конца картины, где всё, что касается военной техники, — правда, а всё, что касается человека на войне, — враньё.

Но тут прекрасная студентка заторопилась и поднялась навстречу высокому, тоже необыкновенно прекрасному молодому человеку с оскорблённо-вдохновенным лицом, и мы сразу поняли, что картина кончилась и сценарист один досмотрел её и теперь шёл на свидание со своей экономичкой, чтобы пожаловаться на непонимание товарищей офицеров.

— Ребята, может, продолжим наш ночной поиск? — сказал я.

— Ты всё такой же. Не укатался ещё, — сказал староста.

Ничего я не такой же. Просто у них есть семьи, а у меня распалась... И я теперь стал юный и допризывный, хоть на танцульку иди.

Я и пошёл.

Надел пальто, шапка и перчатки в руке, на улицу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается передо мною плакат, призывающий идти на главную московскую танцульку в Манеже, где меня ожидают неслыханные удовольствия. Я перешёл дорогу, купил билет, разделся в раздевалке и кинулся в омут удовольствий. Омут оказался огромным залом, похожим на ангар, и там был механический настольный футбол и кольца, которые накидывали на деревянных кенгуру, и в центре играл джаз, и женщина с неистовым голосом развешивала тексты песен для разучивания, и буквы песен были как в кабинете, где подбирают очки. И весь зал гудел песню, а потом ползала танцевало, а ползала кидало кольца в деревянную живность или дергало за рукоятки, и механические футболисты дрыгали ногами и гоняли теннисный мячик. Ужасно какой разгул царил в этом Манеже. И девочки с огромными причёсками времён Анны Иоанновны и её временщика Бирона испуганно стояли и сидели у стенок и ждали, когда же, наконец, произойдёт та главная, ошеломляющая встреча, о которой так хорошо написано во многих книгах. А потом женщина опять неистовство-

вала, развешивала свои медицинские полотнища, и весь зал гудел песню насчёт того, что у всех здесь присутствующих мальчиков и девочек имеется любовь, которая посильнее, чем любовь Ромео к Джульетте. Тут ко мне подошёл Виталька

— Пришёл, так сказать, на молодёжь посмотреть? — спросил он.

— Ага.

— Ну и как?

— Посмотрел.

Я посмотрел. Ничего. Симпатичный десятиклассник выпуска 1964 года. С ума сойти! Он же в этом году кончает. И я за это время тоже кое-что окончил. Мы с ним оба постарели на 10 лет.

— Ну, в чём дело? — спросил я. — Только говори сразу. Не канючь. Впрочем, не продолжай. Вы решили уйти от пошлых придворных танцев и собраться в тесном лицейском кругу. Вам нужна комната потому, что твоё семейство ест холодец и топает ногами, и вам некуда деться, а твой любимый дядя Костя, как всем известно, начинает новую жизнь, и самое интересное в личности дяди Кости — это его комната, которая ещё не освоена человеком.

— Зачем так говорить. Я не подонок, — угрюмо сказал он.

— Не перебивай, — сказал я.

Шесть пар глаз напряжённо наблюдали за нами, и колыхались причёски времён Анны Иоанновны и я всё старался понять, какая пара глаз для Витальки главная. Но ничего не понял. Глаза отличались только по цвету — карие, голубые, зелёные, а выражение одинаковое — напряжённое и растерянное.

— Вас будет 12? — спросил я.

— С тобой 13, — сказал он. — Девчонки там всё приберут.

— Нет, — сказал я, — 12. Вот тебе ключ.

Все шесть рыжих причёсок и шесть галстуков повеселели, хотя ключ я сунул ему незаметно. Наверно, телепатия.

Потом мы пошли одеваться, и за нами потянулись ещё одиннадцать. Виталька оделся сам, а мне гардеробщик подал пальто и даже помял под мышками и стоял, держа в руке мой шарф и шапку, похожую на скальп.

— Быстро уходите. Не понравилось? — спросил он задумчиво получив двугривенный.

— Зал большой, — сказал я.

— Всё лучше, чем в подворотнях шляться, — сказал он и кивнул на ребят и девочек, которые расхватывали одежду.

Я посмотрел на этого охотника за скальпами. С чего он взял, что я с ним заодно? А с кем я заодно?

Я подошёл к зеркалу одновременно с Виталькой. Ростом он пониже и шуплый ещё. Ничего. Оправится. В 41-м, летом, когда мы рыли траншеи под Москвой, у нас тоже шеи болтались в воротничках гимнастёрки, и пилотки сидели на ушах, и бабы вздыхали, и носили нам попить.

— Офицерские сборы закончились? — спросил он.

— Нет ещё.

— Скажи, — спросил он, глядя в зеркало, — вот когда солдат сидит в окопе или, например, идёт в атаку, в штывки, неужели он всё это время думает, что он защищает Родину?

Он упорно смотрел в зеркало. Все серьёзные вопросы они теперь задают, не глядя в глаза. Такие крепкие, мужественные парни из геологических радиопередач для старших школьников.



Рисунок В. Карасева.

— Во-первых, в окопе не сидят, а стоят, а во-вторых, в атаку не идут, а в основном ползут и прикрывают морду лопаткой. Этой же лопаткой в основном и дерутся — со штыком в траншее не повернёшься. Но годятся ещё нож, грана-

та, пистолет. И в этот момент они не думают, что защищают Родину, а дерутся. Потому что это единственный способ выжить в атаке. А защищают Родину живые, а не покойники. И надо уметь её защищать. Профессионально. И не задавать такие вопросы на танцульках, а то сами потом хнычете, что высокие слова приедаются. Я вот думаю, не отнять ли у тебя ключ, пижон?

— А где тебя ещё спрашивать, — сказал он. — Тебя дома никогда нет.

— Пошли, — сказал я.

Мы вышли на Манежную площадь. Ночка была морозная. По асфальту летела позёмка. У фонарей плясали белые мухи. На ступенях Манежа топтались одиннадцать неизвестных, дожидаясь ключа от тёплой комнаты, где только мне было холодно в эту субботнюю ночь.

А потом Виталька ушёл со своими, а я со своими. А потом кто-то догнал меня на тонких каблукках.

— Идёмте с нами. Нехорошо, — сказала она своим голосом с трещинкой.

— Там в холодильнике есть пельмени и масло. Не поленитесь, сделайте. Не давайте им пить без закуски. Нет, малыш, — сказал я, — у вас своя компания, у меня своя.

Потом я довольно легко достал билеты на последний сеанс «Развода по-итальянски», посмотрел, как это у них там делается, и решил, никого я не буду убивать, а пойду-ка я лучше погуляю по переулкам, где такие симпатичные белые мухи под фонарями.

А потом я пришёл домой и поднялся в лифте, где на двери было написано: «Алла дура», а пониже ответ: «Ты сам три дня не умывался» — старая Виталькина работа и его приятельницы из 4-го класса «А». Вошёл в квартиру, где в открытую фрамугу кухни всё ещё вытекал папиросный дым, и на двери своей комнаты я нашёл ключ, привязанный шёлковой лентой, нежной на ощупь. А в комнате всё было вылизано и выметено и расставлено по местам, и от ровно расставленных книг еле слышно пахло рижскими духами.

«Дурачье, — подумал я. — Когда же вы танцевали...»

Ну а потом пришла весна. Пыльная и бестолковая. Я весну никогда не любил. Весна — это пора экзаменов. Это только так говорится, что весной всё расцветает — и травка, и лирика и т. д. На самом деле весной всё напрягается. Это как перед прыжком. Весна это ожидание, это пауза перед поступками, весна это всегда внутренний конфликт, это столкновение между «хочу» и «должен» и в результате раздражение и усталость. Это только кажется, что весна лирична, на самом деле весна драматична. Весну я пропускаю. Мне её вспоминать не хочется. Мы с Виталькой мало встречались в эту весну. У него своё, у меня своё. Скажу только одно: и я, и Виталька держали экзамены, и оба выдержали.

А потом началось странное лето. Ну, может, оно было странным только для меня и для Витальки. Потому, что мы оба сдали свои экзамены и оба оказались как бы предоставлены самим себе. Нет, конечно. Жизнь это не сурдокамера: даже если спрячешься в комнате, и то жизнь тычется в двери, приятная или неприятная. То за квартиру платит придёт повестка из домоуправления, то шум листвы занесёт вечерний сквозняк. Жара стояла страшная, и старожилы её, конечно, опять не запомнили.

Пролетают, проскакивают дни, вечно в тревоге сердце человеческое, и нет того, кто бы достиг покоя. Разлетелась наша квартира, кто в отпуск, кто в командировку, и остались мы втроём. Я, Виталька и тишина. А до этого было шумно недели две. До этого сошлись все шумы. Целыми днями по всей крыше нашего огромного дома в десяток молотков колотили кровельщики, за обеими стенами моей комнаты бесконечно грохотали магнитофоны, из кранов в кухне и в ванной лилась вода — мыли посуду и купались, на четырёх конфорках газовой плиты свирепствовали сковороды, хлопали и клацали замки комнат, шкафов и холодильников. Дом стал не дом, а фабрика. Подумать о чем-нибудь толковым можно было только по ночам, но и ночью ревели ошалевшие летние коты, бряцали гитары, а за стеной супружеская пара научно выясняла отношения.

— Меня эта формула жизни не устраивает, — гудел муж. («Формула жизни». Двадцатый век всё-таки).

Муж. Меня пугает, что тебя устраивает такое времяпрепровождение. Вот вчера вечером я ничего не делал. Стоял здесь у стола, а ты сидела там на тахте и лопалась от злости. Мрачный призрак передо мной маячит. (Мрачный призрак перед ним маячит!)

— Такое впечатление, что чем больше барахла, тем хуже жизнь. Понимаешь, что пугает,— не стало общих дел, кроме деловых дел. Ужасно, что, кроме этого, ничего нет. Я ещё весной это заметил. Я тебе говорил об этом...

(Сейчас разговор перейдет на меня).

Жена. Я слышу, как он («он» — это я), как он с какой-то бабой разговаривает. Я тысячу лет от тебя не слышала таких слов, какие он ей говорит.

Оказывается, есть люди, которые мне завидуют. Вот чудеса! Какая-то баба это Ирина. Юная сослуживица. Она как-то раз принесла мне отпускные деньги, оглядела мою комнату и сказала:

— Хватит. Стыдно.

А потом собрала накопившиеся бутылки в две авоськи.

— Я их собирался сдавать, — нерешительно сказал я.

Но она отдала бутылки лифтёрше.

— Не обеднеете, — сказала она.

Я не обеднел. Я только никуда не поехал в отпуск. Потому что вся квартира разлетелась кто куда, а у Ирины отпуск был в следующем месяце. А тогда она не поехала в отпуск.

Я собирался бриться. Включил электробритву — не работает.

— Московское время девять часов 15 минут, — сказал приёмник. Сейчас прозвучит музыка из советских оперетт. Даже в мелочах утро было торжественное. Солнце освещало противоположную сторону дома, и тёмная тень скрывала половину нашего двора-колодца. Из тени вышел мальчик и ударил палкой по пустому цинковому баку из-под мусора. Эхо поскакало мячиком.

— Виталька! — крикнул я.

— Чего?

— У меня бритва не работает.

— Сейчас.

Я в основном теоретик, а Виталька — практик. У нас весь чулан забит недопаянными транзисторами. Он из любой мыльницы в два дня делает приёмник и в чулан его, как только он заговорит. Виталька ищет лучший вариант. Слава

богу, хоть кончились взрывы и фейерверки. Однажды у него на кухне вспыхнула вата, и он выкинул её в окно. А потом пришёл пенсионер с прожжённым плащом, запахло судом и горелым капроном, и пришлось платить за плащ. Вот молодёжь пошла! Разве мы такие были. Мы с его отцом были не такие. Мы на свалке за линией электрички отыскивали пули и выплавляли из них свинец на газовой плите. Однажды, из пули вылез какой-то стержень и развернулся серой пальмой.

— Ложись! — крикнул я.

Мы кинулись на пол, раздался взрыв, и нам вlepило свинцом: ему в мочку уха, мне в ладонь.

— Держи, — сказал Виталька.

— Гляди, — сказал я.

Мы высунулись в окно. Длинная тень, закрывавшая половину двора, отошла к подъездам, и на середине освещённого двора оказался корабль. Он стоял вверх дном на четырёх козлах, и солнце освещало свежие доски, сваленные рядом, видимо, для обшивки.

— Откуда эта лайба? — спросил я.

— Не знаю. Ночью притащили на прицепе. Какие-то чудачки.

— Делать им нечего, — сказал я.

— А ты не подначивай меня.

Внизу вокруг корабля уже толпились любопытные, и бородатый дядька в берете выкладывал на доски из портфеля электродрель.

— Виталька... пойдём вниз и скажем ему, что нам завидно, — предложил я.

— Подумаешь, — сказал Виталик.

— Ну, тогда сходи за квасом, — сказал я.

Может, ему не завидно. А мне завидно.

Я спустился вниз и постоял у щелястых бортов корабля и, вздохнув, сказал бородачу с беретом:

— Завидно...

Бородач улыбнулся и расцвёл. Он был как Тур Хейердал. Я сказал ему «завидно» и вдруг почувствовал, что я сфальшивил, мне ни капли не завидно. Почему считается, что надо завидовать кораблям, всяким там парусникам. Я горожанин. Я люблю асфальт, и окурки на мостовой, и звёзды над крышами, и рёв грузовиков на окраинных шоссе. А в море — вода. А что в ней, в этой воде. Вода должна быть в водопроводе.

— Весь дом вам завидует, — сказал я. Тур Хейердал опять заулыбался и впился электродрелью в обшивку — чёрный шнур он протянул через двор в окно первого этажа, и на всех балконах стояли остатки великих семей, разьевавшихся в отпуск, на дачу.

А лето шло, и корабль строился. Я ездил в Серебряный бор и транжирил отпуск. Виталька болтался по Москве, потом возвращался со справочниками. Он готовился к институту. А потом однажды была ночь, и гитара брэнчала потихонечку, и тени отшатывались в подъездах. Наступил час поцелуев. Тихая музыка и меланхолические фонари. Это хорошо, не правда ли?

— Что, брат, худо? — спросил я Витальку.

Мы почему-то оказались вдвоём возле корабля.

— Не знаю, — сказал он.

Ночной корабль плыл по двору вверх килем. Его обшили вторым слоем бортов, удлиннили корму и надстроили киль.

— Стекловолокном будут покрывать, — сказал он.

— Стало быть, худо.

— Из регистра приезжали спецы, хвалили конструкцию. Сказали, надо перенять опыт. Много старых шлюпок списано, а могут служить... Недорого стоит. Потом лаком покрыть. Сушить можно спиралью с рефлектором.

— Что, брат, плывёшь кверху килем? — спросил я. — Ну, что у тебя стряслось?

— Ничего не стряслось.

— А почему киснешь?

— Потому что ничего не стряслось. Всё известно наперёд. Кончил школу, уволился с работы, а больше ничего не стряслось.

— Ну-ну, — сказал я. — Какой сарказм. Давай, давай. Что же тебе известно наперёд.

— Сейчас ты скажешь, молодость не должна бояться дорог и всё такое. Бригантина поднимает паруса.

— А что? Недорого стоит, правда? — спросил я.

— Не знаю.

— Потому и мечешься, что не знаешь.

— А ты тогда почему мечешься?

— Потому что знаю. Дорого стоит. Потому и мечусь. Вот в чём между нами разница, киса. Недобрал я в своё время бригантин, парусов и прочего, а теперь поздно.

— Почему поздно? Отпусти бороду и построй пароход.

— Не пойдёт. Я горожанин. Терпеть не могу корабли.

— Я тоже терпеть не могу корабли.

— Тогда пошли домой.

Мы двинулись к подъезду, у которого на венских стульях сидели лифтёрши, утомлённые сплетнями. Всё они про меня знают. Рентген. Мы прошли мимо хищных взглядов и влезли в лифт. Двинулись. Загробный голос диспетчера спросил сквозь дырочки в стенке кабины:

— Как работает лифт? Нет ли жалоб?

— Ни жалоб нет, ни предложений. Отключитесь, — сказал Виталька.

— Чересчур ты умный, — сказал голос. — Я вот пожалуюсь родителям, хулиган.

Мы вылезли и вошли в пустую квартиру и выпили бидон квасу.

— Знаешь, кто мы? — спросил Виталька. — Мы с тобой продукты эпохи, и у нас конфликт отцов и детей.

— Ерунда, — сказал я. — У нас конфликт дядек и племянников. Пошли спать, продукт. Ты мечешься потому, что треплешься, а треплешься потому, что спасаешься от поступков. Каждый, кто спасается от поступков и плывёт вверх килем по течению, говорит, что он — продукт эпохи.

— Скажи... — спросил он. — Как ты мог допустить, что у тебя так получилось?

— А вот это уж тебя не касается. Понятно?

Он открыл рот, хотел ответить.

— Нечего сказать, верно?

— Чересчур ты умный, — сказал он.

— А ты пожалуйся родителям, — сказал я. — Ты что, с Валею поссорился?

Почему ты сегодня взвинченный?

— Из-за тебя! — крикнул он.

У меня всё похолодело внутри.

— Я же молился на тебя... с детства! — крикнул он.

— Молиться не надо. Религия — опиум для народа, — сказал я ровным голосом.

Он весь искривился.

— Костя... хочешь, мы с ребятами им рыло набьём?.. До поезда осталось двое суток.

— Цыц... До какого поезда?

Он всхлипнул. Убежал на кухню. Зашелестела вода. Он вернулся.

— Я уезжаю в Ленинград, Костя.

— Ну. Дальше.

— Я поступаю в морское училище.

— Вот так штука... — сказал я.

Родители прилетели на другой день.

Ещё успели собрать его как следует, ещё успели сделать проводы.

Был свиной холодец. Была «столичная». Были мальчишки, которые кончали с ним сначала дневную, потом вечернюю школу и два года работали на заводе. Они ели холодец и пили «столичную», и держались всё более прямо, и дружно хохотали, когда рассказывали друг другу анекдоты из солдатской жизни, которые они слышали от отцов и которые те слышали, когда были мальчишками.

Всё наладилось. Никто не ожидал от него, а он совершил поступок. И теперь ребята провожали его, и за столом не было девочек. Самый долговязый перегнулся к нему и спросил:

— Ну ладно, не в институт, а в армию. Что это даст тебе лично?

— Не знаю, — сказал Виталька. Потом подумал и сказал:

— Верность.

Я не пошёл провожать его на вокзал. Мы отправили всех вперёд, а сами задержались у лифта. Он вдруг смущённо улыбнулся и сказал:

— А я ещё помню, как ты награды носил.

— Ладно. Давай без лирики, офицер.

Тоненький неокрепший ещё парнишка стоял у открытой двери лифта.

— Вот что, — сказал я. — Если хочешь служить легко, служи хорошо. Это не я придумал. Это мне отец сказал, когда я в армию уходил. И ещё. Человек стоит столько, сколько он может заплатить добровольно.

— Здорово придумано. Я запишу, — сказал он.

Снизу раздался стук. Кто-то требовал лифт.

— Напиши мне.

— А ты мне напиши, — сказал он и замялся. — Как там кораблик наш во дворе. Как твои дела.

— Ладно. Добро, — сказал я.

Мы расцеловались. Пылкость, правда, сейчас не в моде.

Ничего. У нас с Виталькой она в моде. Главное, что корабли всегда останутся в моде. Даже когда они все будут без пушек, ракет и чего там ещё придумают. Потому что всегда кто-нибудь захочет плавать не по застывшим волнам тарелки с холодцом, а по живым волнам весёлого моря. Что же касается холодца, кто от него отказывается? Отличная закуска.

Вот опять телефон звонит, и слышен разговор из коридора.

— Виталика? — спрашивает его отец.

— Да, — отвечает голос с трещинкой.

— Его, простите, нет в Москве.

— Нет в Москве?

— Он, простите, в Ленинграде. Он там учится.

— Ах, учится... А он не будет в Москве?

— Он не скоро будет в Москве. Он в военном училище.

— А-а...

— Если хотите, я могу его адрес дать.

Быстро:

— Можете? Дайте, пожалуйста.

Доигрываются телефонные звонки. Доигрываются маленькие ещё драмы, хвостики какие-то. В армию ушёл просто Виталька, и окончился у него этап жизни. Но кончился и у взрослых этап жизни. На их глазах прошёл мальчик. Загадочный для самого себя и такой понятный для окружающих. Хотя обыкновенно принято считать, что всё обстоит как раз наоборот.

Лысый бугор

• Рассказ «Лысый бугор» опубликован в еженедельнике «Неделя» № 18 (27 апр-3 мая) 1970 года.

А потом раздается шум многих шагов, сердитое бормотание одинокого голоса, и над верхушками бурьяна и полыни показываются головы людей. Это процессия, которая движется со стороны города Меца.

Лысый бугор. Выгоревшая трава пониже вершин.

Серое небо, по которому ветер несет тучи.

Вдали стены города Меца, — его сторожевые башни печатаются на фоне серого неба.

Процессия приближается. Это бедно одетые люди с суровыми лицами, предводительствуемые хорошо одетым мужчиной. Они дышат тяжело и, можно сказать, мрачно, потому что тащат на руках какого-то толстого человека.

Выйдя на бугор, они останавливаются и, раскачав неподвижного человека, швыряют его в бурьян. Совершив это удивительное действие, они грозят кулаками и, плюнув на землю, поворачиваются и молча уходят обратно в город.

Толстый человек лежит в бурьяне неподвижно, а из травы выползает мальчик и садится на землю, разглядывая незнакомца.

Человек поднимается и тоже садится, кряхтя и отряхиваясь.

Он лысый и толстый, и на нем длинная одежда — не то монашеская, не то докторская.

Он ощупывает себя и, найдя очки, вздевает их на нос.

Некоторое время они с мальчиком молча смотрят друг на друга.

— Кто ты? — спрашивает мальчик после выразительного молчания.

— А ты кто? — спрашивает человек.

— Я мальчик...

— Я тоже, — невесело говорит человек.

Мальчик ничего не отвечает.

— Не веришь?.. Видишь ли, я сам считал себя взрослым, но они меня опровергли... — говорит человек, поднимаясь.

— Меня зовут Бонифас, — говорит мальчик.

— ...Понимаю... — человек снова садится. — Извини, пожалуйста... Меня зовут Франсуа, метр Франсуа Рабле... Иди сюда, мальчик Бонифас, и я вытру тебе нос... Негоже сидеть сопливым на земной тверди... Я доктор. Я лечу смехом... Ты спрашиваешь, как лечат смехом?.. Видишь ли, смех — это слабительное. Он помогает при запорах.

— Я ничего не спрашивал, — сказал мальчик.

— Что?.. Не важно, — ответил Рабле — Ты видел, как меня... э-э... несли на руках?

— Видел...

— Это мои пациенты, — сказал Рабле. — Кстати, Бонифас, у тебя не болит живот?

— Нет.

— Ну-ну... — промолвил Рабле, сомнительно посмотрел на Бонифаса и, помолчав, добавил: — Смотри, Бонифас, не пей воду из реки, слышишь?

— Да...

— Эти болваны думают, что заразу в городе можно уничтожить колокольным звоном и пением красивых псалмов. А сами пьют вонючую воду из реки, куда все кожевники сливают отходы, — сказал Рабле и посмотрел вдаль, и голос его дрогнул: — Когда я сказал, что нечистоты нельзя сливать в реку, купцы объявили меня безбожником. Еще бы: они получили богатые заказы для новой армии короля Франциска. Как я их убеждал! Как умолял поверить мне! Но они смеялись надо мной. Знаешь, что было дальше, Бонифас?.. Тогда я сам начал смеяться над ними. Я написал продолжение истории про Гаргантюа и его сына. Впрочем, тебе не понять. О, как они возмутились... Они протащили меня по городу, вышвырнули меня из города, как отброс, на свалку... Все выгорело, Бонифас. Сухо в сердце, — сказал Рабле устало и потом с ненавистью добавил: — Как я люблю зверей этих несчастных!

И, встав с земли, он пошел прочь и, оглянувшись, помахал рукой голове Бонифаса, которая глядела ему вслед.

Рисунок В. Освера



И Рабле сошел с холма и выбрался на дорогу.
Свободно протекает река в своих илистых берегах.

Неприхотливый обыватель переходит ее вброд, закатав штаны выше колен. Мычание коров, ржание лошадей, бляение овец. По дороге солдат гонит стадо, которое разбредается и норовит остановиться, чтобы дорогой пощипать траву.

И так, идя по пыльной дороге, Рабле приблизился к деревне, что лежала у подножия угрюмого замка.

И когда он подошел поближе, он увидел, что к нему опять движется группа людей.

Рабле остановился, люди подошли поближе.

— Господин, если вы священник, то пойдемте с нами, — сказал крестьянин.

— Зачем? — недоверчиво спросил Рабле.

— В деревне очень нужен священник, а наш вчера умер, некому отпевать. Идемте скорее.

— А вы меня на руках носить не будете? — спросил Рабле. — Я этого не люблю.

— Идемте, господин кюре, — сказал крестьянин, и все тронулись к деревне.

Дырявые соломенные крыши. Окна, заткнутые соломой. Закопченная дверь. Дом виллана.

Трактир при дороге, прислонившийся к стене башни.

Украшает пейзаж виселица с веревкой, закинутой на перекладину. На ней сидит ворона.

Вилланы ведут Рабле прямо к трактиру, откуда раздаются крики.

— Отпевать покойника — дело веселое, — говорит Рабле. — Но зачем же сразу в трактир?

— У трактирщика дочь умерла, — отвечают вилланы. — Третий день священника ищем.

— Ну-ну, я не знал... — говорит Рабле.

И они подходят к дверям.

— Вот хозяин, мы тебе священника привели, — сказал виллан.

Горят свечи. Стоит открытый гроб. В гробу лежит девушка, скрестив руки на груди. Букетики маргариток у ее лица и в ногах.

Плачущие женщины.

Рабле подходит к гробу и смотрит на мертвую девушку, которая лежит, как живая.

— Она у вас красавица была, — говорит он, помолчав, и женщины начинают всхлипывать.

— Отчего она умерла? — спрашивает он.

— Господин барон собирал налоги, — отвечает трактирщик. — Латники ее напугали... Как стали ее тащить, так она и упала мертвая.

— Дворянская ласка, — сказал Рабле.

— А теперь нужно платить налог за похороны, — сказал хозяин.

— Та-ак... — сказал Рабле и замолчал, глядя на девушку.

Рабле подошел совсем близко и наклонился к самому ее лицу. Он взял ее за руку и припал головой к ее груди и так застыл.

Крестьяне переглянулись.

— Святой отец, — сказал хозяин. — Пора кончать... Скоро вечерний колокол. Похоронить не успеем.

Рабле поднялся и оглядел всех.

— Дело в том, — сказал он глухо, — Дело в том... что она живая...

Крестьяне ошеломленно молчат.

— Не надо шутить, святой отец... Мы люди бедные, но не надо шутить, — сказал хозяин, и крестьяне угрюмо заволновались.

— Я не шучу, друзья, — сказал Рабле, глядя в неподвижные лица. — Это такая болезнь... Это сон. Летаргический называется по-латыни.

Все молчат.

— Я знала!.. — закричала мать, — Я знала!.. Она спит! Она спит, доченька моя! Она не умерла!

— Да-да, она спит.

— Как же так? — спросил хозяин, — Она же мертвая... Три дня уже лежит...

— Она спит! Она спит! — кричит мать. — Святой отец знает!

— Что же теперь делать? — спрашивает хозяин.

— Теперь надо ждать... Может быть, дни, а может быть, недели.

— Недели?! — зашевелились крестьяне и двинулись к гробу.

— Недели! — закричала мать. — А что ж такого?.. Уходите все... Кто подойдет к дочке моей — глаза выцарапаю!..

— Никогда такого не бывало, — сказал хозяин. — Что теперь господину барону говорить...

Жилые комнаты замка угрюмы и мрачны, как темницы.

Узкие длинные окна прорезаны в трехаршинной стене. Толстые железные решетки едва пропускают свет. Сводчатые потолки да некрашенные стены из дикого камня, холод, сырость, полумрак длинных коридоров, в которых летучие мыши пролетают над головой, потревоженные светом факелов, — вот цена военной безопасности хозяина этого замка.

По коридору идет Рабле, сопровождаемый бароном. Это старый человек на тощих ногах, на голове у него ржавый подшлемник. Слуги несут факелы.

— К черту! — громко говорит барон. — К черту! — и эхо скачет по переходам. — Умерла, значит, умерла, и надо хоронить... Эти скоты всегда увиливают от налогов.

— Ее нельзя хоронить, господин барон. Она жива.

— Уходите, святой отец, и не путайтесь в наши дела! Не то, клянусь богородицей, я брошу вас в подвал.

— Нет, господин барон... Не бросите. Вы вассал кардинала дю Белле, моего ближайшего друга, — говорит Рабле и идет к выходу.

— Ладно, я подожду немного, — говорит барон.

Сидит у гроба Рабле. Качается огонек в лампадке, и качается большая тень на стене. Дверь приоткрывается, и чье-то лицо заглядывает в комнату. Потом дверь снова захлопывается.

За дверью слышны голоса, шум.

Рабле прислушивается, голоса приближаются.

Дверь широко распахивается, и в комнату вваливается толпа крестьян.

Франсуа встает перед гробом, загораживая покойницу.

Один из крестьян идет к нему.

— Все сроки уже прошли. Вчера вы просили подождать еще один день, мы согласились, — он подходит к гробу, —

Но она мертвая, господин Рабле, и ее не оживить, — он кивает крестьянам:

— Ну, люди, забирайте. Сегодня мы еще успеем.

И крестьяне идут к гробу.

Но Франсуа двигается на них.

— Вы не можете похоронить живого человека! — говорит он. — Я вам не дам.

— Да она не живая, господин Рабле, и вы не встревайте...

Рабле хватает палку, хочет замахнуться, но потом опускает руку.

— Дурачьё! — с болью говорит он, — Мне она совсем чужая... я с ней сижу... Не троньте ее... все, что надо, я беру на себя.

Крестьяне молчат. И тогда один сказал громко:

— У, смутьян проклятый!

— Ну что ты кричишь? — сказал Рабле, — Я же не виноват, что ты трус.

— Лютые вы волки! Развелось вас на нашу погибель! Ты пришел и ушел, а нам здесь жить!

— Ты это жизнью называешь, рабская твоя душа?! — сказал Рабле.

— Люди, не слушайте его, я его знаю! — сказал старик. — Это безбожник Франсуа Рабле. Говорят, его секли в городе Меце!

И тогда метр Франсуа поднял палку и закричал:

— Тебя каждый день секут, старый ты заяц! Тебя жизнь сечет, тебя барон сечет, поле твое град сечет! Ты не видишь, остолоп, что я тебе брат по крови! Ты обидел меня, старый кочан! За что? За то, что мне из-за тебя обидно!

Все замолчали, и так и стояли они молча.

— Мы понимаем... будем ждать еще. Не обижайтесь на него, господин Рабле, — сказал хозяин, — у него черствая душа.

— Разве дело в его вонючей душе? — крикнул Рабле. — Это моя душа в царапинах от обиды за вас! Это мою душу лягали титулованные копыта! Я человек, — эрго, я унижен! Я человек, — следовательно, я беден! Я человек, — значит, я люблю вас, голодранцы! Если вам скажут, что вы уродливы, — не верьте! Если вам скажут, что вы грязны, — не верьте! Если вам скажут, что вы грубы, скотоподобны, — не верьте им, вы прекрасны! Вы прекрасны, ибо при том ничтожном, что есть у вас для поддержания жизни, вы не поедаете друг друга, как это делают они, знатные, зажавшиеся до бровей!

— Тебя не поймешь, — сказал крестьянин. — То ругаешься, то хвалишь. Бог с тобой...

— Отец, а я понял, что он говорил, — сказал юноша.

— Мал еще понимать такие речи, — сказал отец и дал ему подзатыльник. — Идемте, люди. Пусть он живет сам по себе, а мы сами по себе.

И они ушли прочь, а спящая осталась непохороненной.

И когда Рабле, и мать, и отец вошли в дом, они увидели, что девушка приподнялась в гробу. Девушка приподнялась в гробу, и Рабле заплакал, закрыв лицо руками.

Рабле все еще сидит, закрыв лицо руками, но он сидит уже в другой комнате, нарядно убранной, и за дверью слышится шум праздника.

В дверь вбегает девушка, которую он воскресил.

Она подбегает к Рабле сзади и закрывает ему глаза руками.

Он вздрагивает, медленно снимает ее руки и оборачивается.

Смотрит ей прямо в лицо.

— Ну что же вы не идете, вас все ждут, — она смеется.

— Франсуаза... — он хочет что-то сказать. — Франсуаза... меня зовут Франсуа, я воскресил Франсуазу... это судьба...

А девушка весело смеется и вырывает руки.

— Господин Рабле, мне вам надо еще что-то сказать...

И она убегает.

А Франсуа остается.

— Не пора ли мне уходить?.. — говорит он.

И в это время в комнату вновь вбегает девушка.

Она тихо останавливается против Рабле и опускает глаза.

— Я хочу вам что-то сказать... Можно? — спрашивает она.

— ...Нужно ли это? — волнуясь, спрашивает Рабле, глядя на нее, красивую.

— Да... — отвечает она и поднимает синие глаза — Я полюбила одного человека... я люблю...

— Подожди, — прерывает ее Рабле, и голос его звучит тревожно и радостно. — Подожди, девочка, подумала ли ты хорошо?.. Знаешь ли ты, что тебя ждет? Может быть, лучше не говорить...

— Почему?.. Разве любить — это плохо?

— Нет, но...

— Я скажу, я вам сейчас скажу... Отвернитесь на минуточку...

И Рабле отворачивается, и губы у него дрожат.

— Вот... — говорит девушка, и Рабле поворачивается к ней.

Рабле поворачивается и видит Франсуазу, которая стоит рядом с парнем.

— Вот, — говорит она, счастливо улыбаясь, и парень смотрит на Рабле красивыми бараньими глазами и тоже улыбается счастливо.

— Кто это? — холодея, спрашивает Рабле.

— Это мой жених.

— Нет... что ты говоришь? Какой жених? — Франсуа тяжело сглатывает — горло у него пересохло.

— Мой возлюбленный... Его зовут Леокадио...

— Леокадио, — повторяет Рабле.

— Что же ты стоишь, Леокадио... Кланяйся, — говорит Франсуаза.

Рабле встает со скамьи и выпрямляется. Лицо его искажается, и он начинает хотеть, держась за бока.

— Что вы, господин Рабле? — спрашивает Франсуаза испуганно.

— Ничего, Франсуаза... Я лечусь от болезни... Поздравляю вас... Ступайте... Ну, ступайте...

Смех его кривой и больше похож на плач.

Он всхлипывает. Вытирает глаза. Берет котомку и уходит.

Вбегают люди, но в комнате никого нет.

— Господин Рабле... господин Рабле... Где же вы? Где господин Рабле? — спрашивает хозяин у дочери.

— Он был тут, — растерянно отвечает она, — он смеялся... Он сказал, что лечится... Он смеялся...

— А какой он веселый, — говорит Леокадио, — смеется себе, да и только.

— Дура, — говорит хозяин дочери и выходит из дома.

Франсуа Рабле идет по дороге и сворачивает в сторону.

Он выходит на лысый бугор и смотрит вниз в долину.

Котомка его лежит в терновнике. Голубая дымка смягчает дали. Справа вдаль — замок и деревня, слева вдаль — стены города...

Он садится, свесив усталые ноги, и котомка его лежит в терновнике.

— Да-а, метр Франсуа, — вздыхает Рабле, — пора подводить итоги. Вы обижены, метр Франсуа, до самых потрохов. И во рту у вас горько, и нечем избыть эту горечь. Из-за чего я обижен?! За что обижают человека? Сильный бьет слабого... Глупый ест мудрого... А кто любит людей, про того говорят: вот враг... Где правда на этой земле? Неужели не было смысла в том, что я жил? Зачем я жил? Зачем мы живем? Бедные матери, рожая нас, выкидывают нас на дорогу смерти. И всю жизнь мы идем ей навстречу по этой дороге... Неужели весь смысл в том, чтобы вытерпеть дорожные неудобства? Мы идем по дороге к смерти, взрослеем и умнеем... Чем ближе к смерти, тем больше умнеем... А когда ты стал совсем умным — храк, стрелка часов протыкает тебе глотку. Так зачем же ты жил, метр Франсуа?

Каменистые холмы. Бродячие собаки принохиваются к дыму очагов из долины.

Как высоко серое небо...

Как велика красота медленного движения облаков...

Уединение... Тишина...

По дороге внизу идут люди. Они машут руками и, видимо, ругаются. Но ветер относит голоса в сторону, и их не слышно. Рабле видит людей и, узнав, отворачивается. Люди, тяжело дыша, поднимаются на бугор.

Они молча подходят и останавливаются за спиной Рабле. Это те же горожане, что выносили его из города. Рабле не поворачивает головы и смотрит вдаль.

— Мы пришли за тобой, метр Франсуа, — говорит мужчина с твердым лицом. — В городе очень плохо... Прости нас за обиду...

Франсуа ничего не отвечает и угрюмо смотрит вдаль.

— В городе мор... Ты был прав, метр Франсуа... Болезнь пошла от воды. Помогите нам... В городе ни одного врача... — говорит мужчина, и все с жадностью смотрят на Рабле.

— Я не могу вам помочь, — отвечает Рабле глухо. — Уходите, вы мешаете мне думать... Ступайте пойте псалмы — и болезнь пройдет.

— Мы уже пели, — говорит маленький человек торопливо. — Не помогает.

— В городе умирают люди! — кричит худой человек. — Нет ни одного врача!

— Все умирают, дети мои, — отвечает Рабле. — Днем раньше, днем позже... какая разница... Раньше даже лучше — грехов меньше.

— Он издевается над нами! А мы терпим! Да пропади ты пропадом! Черствая душа! — кричит худой человек, сверкая лихорадочными глазами.

— Я издеваюсь над вами?! Ах ты хорек вонючий! — ревет Рабле и подскакивает с земли. — Ах ты дохлятина! Я могу скovyрнуть тебя одним щелчком, если захочу! Спрячься, или я за себя не ручаюсь! Они выбросили меня на свалку, как тухлую рыбу! Они объявили меня богохульником, когда я заботился об их поганных желудках. А теперь им не нравится мой разговор! Так убирайтесь от меня к дьяволу, слышите?! Плевать я хотел на вашу ненависть и на вашу любовь!

Наступило молчание.

— Он прав, — сказал человек с твердым лицом. — Мы оскорбили его. Прости нас, Франсуа, если можешь. Пойдемте, люди.

Они пошли прочь. Не пошла только худая женщина, которая осталась стоять посреди все увеличивающегося просвета между уходящими и Рабле. Женщина растерянно глядит на уходящих... На Рабле... И прикладывает руки к груди.

— Как же это? — говорит она отчаянно. — А как же сын? Сын мой болен... Бонифас мой болен. Мальчик мой...

И Рабле слышит растерянный лепет матери, и лицо его делается страшным.

— Стойте!! — неистово кричит он. — Мерзавцы!!

Люди удивленно останавливаются.

— Мы забыли про детей! — кричит Рабле и грозит тяжелым кулаком. — Мы все ничтожества... Стойте! — кричит Рабле и бежит к ним. — Я иду с вами, негодяи!

— Виват! — кричат люди и подхватывают метра Франсуа на руки.

И он, несомый худыми могучими руками, возвышается на фоне серого неба и смотрит вверх на тяжелые облака.

— Паршивцы! — говорит он торжественно, глядя вниз на потные лбы. — Вы меня опять тащите на землю.

И они спускаются вниз по дороге, переговариваясь.

Город под водой

• Рассказ «Город под водой» опубликован в газете «Московский комсомолец» 18 декабря 1970 года.

Мы сидели в пустой комнате, и ничего не нужно было делать, все уже было сделано.

Участковый Гаврилов закурил цыгарку, и я заметила, что желтые пальцы у него дрожат.

Он поймал мой взгляд, я отвернулась и увидела в окно, как из-за реки через мост, потом по главной улице двигалась сплошная колонна переселенцев и к ней из боковых переулков, из домов подходили люди, выскакивали машины, мотоциклы и телеги, выжидали момента, вклинивались в колонну и уходили из города.

Наверно, в городе оставались люди, но впечатление было такое, что уходили все. Ревели грузовики, мычал скот, который гнали из зареченских колхозов. За рекой стоял дым от горящего консервного завода, и пахло печеными яблоками.

Гаврилов поймал мой взгляд и сказал:

— Пойдем, в машину посажу.

Мы вышли на улицу, и мне хотелось запомнить все — афишные тумбы, зеленые буквы афиши — состязание борцов в цирке-шапито, и номера домов, и дурацкий фонтан — мальчик душит гуся, — и клумбу, через которую кто-то проехал на телеге. И я вдруг вспомнила, что это мой первый рабочий день и я еще не водила ни одной экскурсии по городу и уже, наверное, никогда не поведу.

Гаврилов достал из кармана носовой платок, встряхнул его от махорки, сложил вчетверо и протянул мне. И я поняла, что плачу.

Тут мы подошли к милиции, и Гаврилов оставил меня во дворе, где горел большой костер, в котором жгли бумаги и папки, и старуха тыкала в костер вилами и переворачивала бумаги.

Стояла пустая полторка с открытым капотом, и из-под нее торчали ноги в сапогах.

Вернулся Гаврилов и сказал, что машина пойдет через полтора часа. Я вышла на улицу, и тут со мной произошла странная вещь.

Дальше случился один эпизод в моей жизни, который я то забываю, то вспоминаю иногда. И каждый раз у меня к нему другое отношение. То я думаю, что я была молодцом, то кажусь себе полной дурой, которую взрослые люди обвели вокруг пальца, сделав вид, что участвуют в игре. Но все это было потом...

А тогда я стояла у ворот, на этой улице, мертвой и тихой, и вдруг за спиной услышала легкий треск, какой-то ласковый треск. Я сначала не обращала внимания на него, потому что прислушивалась к тоскливому гулу и коровьему мы-

чанию, доносившимся из-за домов, со стороны главной магистрали. Но потом я обернулась и поняла, что тот треск, даже не треск, а вкрадчивый шорох, идет от костра, на котором бабка жгла все ненужные бумаги, потому что все ценное из нашего музея уже отправили вместе с милицейскими машинами.

И тут я вдруг сообразила, что все эти старые личные дела, справки с места жительства, фотокарточки в двух экземплярах, аттестаты, заявления о приеме на работу, отчеты о летних практиках, анкеты и характеристики — вся эта канцелярщина, от которой меня всегда мутило, — эти бумажки дороги мне так, что сердце останавливается.

Подумайте — война, убивают людей, уходим из города, ломается вся жизнь, одни будут убиты, другие искалечены, и никто не останется прежним, а я стою, держусь за сердце и не могу отвести глаз от этих бумажек, от черных хлопьев, порхающих над бледным костром, стою и слушаю шорох.

Не могу даже объяснить толком... Мне казалось, что наконец добрались до меня, что это жгут меня... Горят бумажки, которые я терпеть не могла, горят характеристики, в которых я себя не узнавала, и мне показалось, что вот они сгорают и мне уже никогда не доказать, что все это было только подготовкой совсем к другим делам, которые ни в какие справки не втиснуть, потому что в этой огромной беде затерялся мой мышинный писк провинциального экскурсовода-историка. Я вдруг поняла, что это сжигают мой единственный след на земле. Понимаете? Потому что гибель, которая приближается к нашему маленькому городку, уже заткнула мне рот и отняла шанс сказать свое слово.

И меня вдруг захлестнула такая обида, что я умерла прямо здесь, у ворот захолустного городского музея. Я потом умирала много раз, но это был первый раз, когда я поняла, что можно умереть заживо.

Потом кто-то за локоть поднял меня с земли, и я узнала Гаврилова.

— Не надо, товарищ экскурсовод, — сказал он, — не плачь. Все равно наша возьмет... Мы еще попляшем на твоей свадьбе.

— На их поминках... — сказал какой-то мужчина.

Два человека стояли рядом с Гавриловым.

Я вытерла лицо и сказала:

— Давайте, я проведу с вами экскурсию... иначе я умру... Я никогда в жизни не проводила экскурсий... я покажу вам весь город... Сегодня мой первый рабочий день...

Все трое поглядели друг на друга.

— Машина пойдет через полтора часа, — сообщил Гаврилов.

— Город посмотреть не вредно, — заметил второй.

— Пошли, — сказал третий.

Мы двинулись по улице. Я впереди, они за мной. Гаврилов отломил прутик от бузины и сделал мне указку.

У ворот милиции, которая была рядом с нашим музеем, Гаврилов вдруг сказал:

— Минуточку...

И схватил за руку какого-то парня.

— Ты что здесь шастаешь? — спросил он.

— Гуляю... — ответил парень. — Не хватай меня, понял?

— Не верти, Бутягин... А то упрячу....

— Прячь... — сказал Бутягин. — Брата моего скосил, валяя и меня...

— А ну, давай отсюда, — сказал Гаврилов.

И мы пошли по городу.

Что было дальше — наверно, невозможно описать, все сливается в какой-то туман. Если сказать в одно слово, — я была счастлива. Это чудовишно, ио это так. Поэтому рассказать об этом невозможно, и я до сих пор не рассказывала.

Я их водила по городу, в котором они сами жили, но это был совсем другой город, и они ходили по нему, как приезжие. По моим словам получалось, что это самый необыкновенный город на земле, весь состоящий из исторических памятников и шедевров архитектуры, и что потеря этого города для человечества равна потере всей культуры. Без него и свет погаснет.

Конечно, я все страшно преувеличивала. Но как-то так получилось, что, несмотря на преувеличения, — это была полная и абсолютная истина. Хотя известно, что абсолютная истина недостижима и к ней можно только стремиться. Ну что ж, значит, это была моя личная абсолютная истина.

Потому что я всегда хотела быть экскурсоводом и больше никем. Потому что я тщеславна, хочу быть в центре внимания, люблю бродить по улицам и поэтому пошла в экскурсоводы. А все, кто кончал со мной школу, поступили в важные институты, чтобы творить и созидать, и меня за человека не считали.

И этот парень, Бутягин, все время плелся за нами, его гнали, а он не уходил. Я заметила, что двое мужчин нервничают.

Потом я остановилась, потому что больше не могла говорить.

Они все подошли ко мне, и парень подошел, и один из мужчин сказал:

— Спасибо, сестренка.

И объяснил, что за свой первый рабочий день я, может быть, отработала все остальные, и это надо записать в трудовую книжку.

А я сказала, что трудовую книжку тоже сожгли.

Второй мужчина посмотрел на часы: — «пора идти». Тут парень заявил, что пойдет с ними, а Гаврилов ответил, что заберет его к чертям. Но Бутягин возразил: забирать его некуда. Тогда они долго молчали, а потом Гаврилов сказал, что четыре человека все же лучше, чем три, и если что, он пристрелит Бутягина, как собаку. Но Бутягин огрызнулся — «сам ты собака...» и заплакал. Потом поцеловал меня и сказал, что он «хотел им сделать за брата», ио «чересчур была хорошая лекция о Родине».

И я позволила себя поцеловать первый раз в жизни совершенно незнакомому парню. А те двое дали ему наган. Я ничему не удивлялась, потому что уже не было никаких сил вытерпеть весь этот ужас и всю эту красоту.

Потом Гаврилов с Бутягиным ушли, а те двое посадили меня в полуторку, на рогожные тюки с печатями, а сами скрылись проходными дворами, и лица их я не запомнила.

В машине я сразу заснула, но потом проснулась, когда раздался этот грохот. В кузове полуторки сидели какие-то дети и две женщины, а я была в кабине рядом с шофером, как я туда попала, совершенно не помню. Мы двигались в конце колонны беженцев, а позади была пустая, совершенно пустая улица.

Потом позади раздался грохот еще сильнее, и на повороте я увидела реку, и на зареченском берегу — чужое войско. И там, где был наш новый мост, стоял желтый дым до самого неба.

Шофер сказал:

— Спи... Не смотри...

И лицо у него было белое...

Потом я служила в армии, южнее Сталинграда, шла по Украине, была радисткой в девятой воздушной армии у Вершинина...

После войны в экскурсоводы я не пошла. Потому что не могла водить экскурсии по руинам. А потом все это куда-то ушло, утонуло, стало казаться блажь: стыдно болтаться по городу и простуженным голосом говорить — посмотрите направо, посмотрите налево, перед вами памятник архитектуры двадцатого века, — и фотографироваться на фоне памятников. Я навидалась, как делаются памятники. Целый дом становится памятником, когда в него попадает фугаска.

Когда из-под Сталинграда нас везли на баржах в Москву, то на Рыбинском водохранилище, как тогда говорили, на Рыбинском море, я увидела торчащую из воды колокольню и на ней остаток парашютной вышки — стрелу, на которой по воскресеньям опускали довоенных прыгунов. И мне объяснили, что это город Калязин ушел под воду.

Много лет потом я работала на аэродроме и в научной библиотеке, работу свою не любила, потому что мой собственный город тоже утонул, ушел куда-то под воду. Но однажды я решила и поехала в наш старый городок. И я увидела, что там построен новый мост, еще лучший, чем прежде. Но на белом откосе там была бетонная плита с двумя незнакомыми фамилиями и двумя знакомыми — Гаврилова и Бутягина, — и я поняла, что пора возвращаться к делу, для которого я родилась. Наверно, не только у меня на дне лежит затонувший город, из которого мы произошли, и ждет, что мы к нему вернемся.

...— Посмотрите направо, пожалуйста... перед вами памятники архитектуры... цатого века... извините, я совершенно охрипла...

Долгий путь через комнату

• Рассказ «Долгий путь через комнату»
опубликован в еженедельнике «Неделя»
№3 (25-31 января) 1971 года.

...Это история простая. В ней всего два раза плачут и никто не убит. Это маленькая история, но сквозь нее просвечивает время...

Ему с самого начала понравилась эта девчонка. Во-первых, потому, что она красавица, а он любил смотреть на таких, хотя он им не доверял. Если девчонка твоя — она и должна быть твоя, а так идешь по улице, и все на нее пялятся, вроде воруют ее у тебя, а это ему было ни к чему. Но эта была деревенская, понимаете?.. Это было во-вторых...

Утро было розовое, спокойное, и он потихоньку вел машину по пустым улицам, чтобы попасть к заводу не раньше утренней смены. Он кружил и кружил по городу, и тени были длинные — от тротуара до тротуара, а кое-где верхние этажи пылали от солнца. На углу Черепановской и Краснокурсантской он остановил «МАЗ», и к нему подбежал Юраша. «Все точно, — сказал он, влезая в кабину, — Володя узнал. Сегодня вечером у Меркуловых». «Ах, Графиня, Графиня, что же ты с собой наделала?» Он тихо повел машину в сторону завода, к которому уже потянулась утренняя смена, и «МАЗ» шел медленно, как похоронный автобус. Город мало изменился за три года, но стал чище. А может, это ему показалось, потому что он проезжал мимо института. Сверкающий стеклами подъезд и зеленые листья. Подъезд был похож на ректора — сияющие очки без оправы и зеленые листья в стакане на письменном столе с пузатыми ножками.

В тот день все началось с того, что ректор ему сказал: «Виктор, кафедра хочет вас опять на полигон отправить. Я против, пора вам приступать к диплому». Ректор всегда звал его Виктор, а не Витька, как остальные, Витя, Витька, Витек. Когда он вышел от ректора, был перерыв между лекциями, и он попал в толпу, и торчал столбом во все свои метр девяносто, и его расспрашивали, как у него с дипломом: «Витек, как с дипломом, неужели они тебя опять на полигон упекут?..»

Он тогда уже был хорошим испытателем, и в договор входило не только преподавать автодело, но и испытывать новые марки на полигоне. В общем, он тогда машинами мог пользоваться любыми — и нашими, и инмарок. И рост подходящий.

«Витек, ты в библиотеку ходил?» Ему было некогда, он не ходил, ребята шум подняли. Он сначала не понял, почему, а потом вон что выяснилось: «Ты новую лаборантку видел? Первый день работает». Ну, это другое дело. «Куколка?» — «Нет. Не куколка. Дикая женщина из тундры». У дверей библиотеки хохотали парни. «Я ее спрашиваю: до которого часа библиотека работает? А

она окидывает меня взглядом и говорит: «И ня думай, и ня мячтай». Он вошел в библиотеку, какая-то женщина стояла к нему спиной. Крупная, волосы завиты бестолково. Она накидывала платок. Когда она оглянулась, оказалось, красавица. Веки тяжелые, смотрит не на тебя, а в себя. Он тогда разозлился и сказал: «Да я и не мячтаю, не мячтаю...» А она улыбнулась, как солнышко, — ей же года двадцать два, не больше, она просто крупная и прическа простая. «Это я нарочно, — сказала она. — Чтоб отлипали». Смешно ему стало, и, ну просто сил никаких нет, до чего она ему понравилась. «Ничего, я освоюсь», — сказала она. «Да уж освоитесь», — сказал он. Тайна в ней была. Когда смотрела неподвижно, были заметны деревенские сережки—золотые капельки, мамин подарок, омут, бор дремучий, ожидание, а когда улыбалась — откуда бралась эта радость, эта насмешка, как будто на свете только и есть, что грибной дождь, бант в косе и запах травы. А когда опускала глаза вниз — ну это было самое трудное, потому что тогда можно было ее разглядывать безнаказанно, и от этого дух захватывало. Знала Глаша, какая она? Конечно, знала. Таковую не придумаешь, надо родиться такой, как пашня и как радуга над пашней, как старина и как морзянка в эфире — SOS! SOS! SOS!.. Не забывайте основы, основы жизни, не забывайте, человек сложнее мотора, — как в старой песне, помните: «по зеленой, зеленой, зеленой траве» — три удара в трех местах, и три слова становятся разными. Все в ней было намешано: сила и слабость, достоверность и притворство, только одного не было — вранья.

Он оставил у заводских ворот свой «похоронный» «МАЗ» и пошел выписывать пропуск на территорию.

Юраша вытащил термос и глотнул кофе с ванилью, ну и еще с чем-то. Они с Витькой вместе служили срочную, вместе работали в такси, потом испытателями. Только Витька институт кончал, а Юраша учиться не пошел — он и так умный.

Вышел Витька с пропуском, и они въехали на заводской двор... «...Когда она по подоконникам ходила, — сказал Юраша, — помните? Или как она в газетном колпаке чарльстон отплясывала босиком на мокром полу... Ясно же было, как должна выглядеть хорошая жизнь... Откуда такая девка могла в ихней глухомани родиться, голубая кровь... Один бог знает». «Или черт», — сказал Витька. Но это все потом было. Как раз перед тем, как все начало рушиться и вот к чему привело.

Но все это потом было — и подоконник, и чарльстон на сыром полу, и две сливы за три копейки, а тогда, после библиотеки, они с Глашей вышли вместе, и она увидела «Тойоту», на которой тогда катал Витька. «Садись, подвезу», — сказал он. Тут они поехали, и Витьку вдруг понесло. Стал рассказывать, как мать схоронил, лежала в параличе три года, а он в такси пилит. Отец, майор, погиб в сорок первом, а брат еще учился. Потом маму схоронили. Брат женился. Вот и все. «Ты думаешь, я хуже ваших — городских? — сказала она. — Я быстро освоюсь». Она осваивалась с такой скоростью, что только скаты менял. Она в своей Тьмутаракани за семидесятой параллелью жила, училась, потом заочно училась, потом по телевизору увидела передачу из этого города — стекло, бетон, вечный огонь героям гражданской войны, памятник погибшим студентам в

Отечественную войну у здания института, — собрала вещички и «Мама, я не могу иначе» — записку на стол, выскочила в морозную ночь, там фары грузовиков с никелем, подняла руку, головная машина затормозила, и вот она уже стоит с чемоданом на тех ступенях почтамта, откуда диктор передачу вел, можно сказать, прямо в телевизор влезла. И вот теперь пятый курс, лаборантка в научной библиотеке, диплом будет защищать в городе, «я не хуже городских», а у самой сердце екает: «А вдруг лучше?» «Жалко мне тебя», — сказал он. «Почему это?» — «Чересчур красивая».

Пришел Юраша и сказал: колонна моторы глушит, Дед в управлении топчется. Пал Палыч — на складе, Анка с механиками — в универмаг за мохерами и пластинками, Киракос и Володя — на рынок за зеленью и баранину выбирать: вечером будет сооружен плов-гигант...

Он в нее он влюбился сразу, а она в него постепенно, когда одежду нашла по себе и додумалась до правильной прически.

Она привезла с собой новое совсем платье. А надела в городе, оно ей тесное — выросла, а тут у Веры Ивановны день рождения. В чем идти к Вере Ивановне? В чем попало не пойдешь, она в городе живет двадцать лет, квартира трехкомнатная. Сорок два года подружке маминной, а как натянет чулок тонкий на полную ногу и бархатное платье с вырезом, все девочки серые перепелочки, а она лебедь, подружка мамина.

«Ты меня на машине подвези, — сказала она Витьке. — Надо ей нос-то утереть, подружке маминной. Я не хуже ее. А сперва — в универмаг. Отрез куплю капроновый. Синяя молния, геометрический рисунок, современно». «Шить-то когда будешь?» — «А чего тут шить-то? Мешок и три дырки — для головы и для рук. Поясочек у меня есть. Змейка». Вечером подъехал к общежитию, она выходит — картинка: губы перламутровые и грудь колесом. А приехали к Вере Ивановне, зашли в дом, там на всех окнах шторы капроновые — синяя молния, геометрический рисунок, современно. Она вцепилась Витьке в руку, белая стала. «Отвези меня домой, Витенька». Но поздно. Стали за стол садиться. Хрусталь, чешское стекло. В одной комнате Пьеху крутят, в другой «Астра» пленку рвет, в третьей муж маленького роста в голубой экран влип. «Гол! Гол!» — кричит, а за сердце хватается и за стол не идет, не хочет. После пятой рюмки ничего не слышно. Вера Ивановна глядит на Витькин метр девяносто и кричит Глаше на ухо: «Я все могу, не веришь?!» — «Не знаю...» — «Не хитри... Не подначивай.. И тебя устрою куда хочешь, по старой памяти... Как там Кланька, подружка моя?» — «Мама болеет». — «Разошлись наши дорожки... Я ей говорила, поедem в город учиться! Не поехала». — «А вы учились, тетя Вера?» «Я?... Я всему научилась, — кричала она, — муж у меня на пенсию выходит, сын не умней его, а скоро кандидатом наук будет. И привет — я человек свободный, как птичка. — Она потянулась, сильная, здоровая, и сказала: — Ничего... Мы этот бабий век еще продлим немножко... Сколько сможем...» И посмотрела на Витькины метр девяносто. А потом они удрали оттуда и пошли пешком и орали по инерции. Они долго ходили и далеко зашли. Так далеко, что она даже позволила себя в щеку поцеловать. «И ня думай, и ня мячтай, — сказал он. — Чего ты хочешь от жизни?» «Всего, — ответила она. — Как Вера Ивановна. А ты ви-

дел, как она на тебя смотрела?.. Она тебе понравилась?» «Она же неживая, — ответил он. — И вокруг все неживые — муж, сын, цветы восковые, как в крематории». Они так орали, что могли бы идти по разным тротуарам. Потом он стал ловить такси. «Тебе пора... А я еще поброжу», — сказал он. «Докуда хочешь пойти, до Веры Ивановны? — спросила она. — Между прочим, это только так говорится — мертвая. А на самом деле ты идешь к ней...» — Он остановил такси. «Ты дурашка, — сказал он. — И я тебя люблю». «И я... Но это ничего не значит... Мне надо освоиться, — сказала она. — Я еще ничего не поняла».

Он вышел из заводской столовой и позвонил в управление, и Дед ему сказал, что кинограммы будут смотреть в три часа и все зависит... ну и так далее.

Ему показалось, что по заводскому двору прошла Глафира в синем халатике. Но она уже давно на заводе не работала, и Юраша ему все рассказал о Меркуловых...

А потом была эта история с французским языком. Это, когда она начала врать. Она переменялась сразу и окончательно. Она хотела этого и добилась, как добивалась всего, чего хотела, Витька не уследил этого момента. И тогда к ней пришел успех. Это, когда она начала стесняться своего имени. Переделывать Глафиру на Галину она не стала, она была гордая, но при знакомстве стала нажимать на свою фамилию — Муравьева. В ней так и осталось «и ня думай, и ня мячтай» — деревенская застенчивость, которая иногда оборачивалась невоспитанностью, поэтому ее сначала со смешком, а потом по привычке стали звать не Глафира Муравьева, а «Графиня Муравьева». И это открыло ей глаза на новые житейские возможности и породило у нее много свежих идей, которые она и принялась осуществлять со всей основательностью своей решительной натуры. Вот уже поползли слухи о том, что прозвище Графиня Муравьева дано ей не без серьезных на то оснований, что она потомок неких декабристов Муравьевых, которые хотя и были революционерами, но и все ж таки дворянская кость и голубая кровь. «Зачем ты это делаешь?» — спросил ее Витька. «Ну что? Что делаю?» — спросила она, как говорят актеры на голубом глазу. И так как ему было за нее стыдно и он молчал, только покачиваясь с носка на пятку, руки в карманах и брови подняты, то она стала ему кричать слова неинтересные и без смысла. И тут случилась эта история с французским языком — и дело кончилось милицией. Потом выяснилось, что она приходила в магазин, лопотала по-французски, а потом сообщала, что «плохо говорю пу-русски». Однажды ее встретили подруги. Она попалась. А у подруг наступило некоторое отвращение к жизни, которое всегда наступает у нормальных людей, когда они видят, как красота сама себя вываливает в грязи. После чего Витьке сообщили, что Графиня заболела, и он пришел ее навестить. Она была совсем плоха. Что-то сломалось в ней, и она лежала тихая и никчемушная. Температура у нее была высокая, денег ни копейки, и ела она только бублики и абрикосовый компот.

Он привез пакет еды, литровую бутылку молока и котенка. «Это я в кино видела, — сказала она. — В «Анне на шее». И обхватила котенка. Она ела, и котенок ел, а Витька вышел в коридор и смотрел в окно. Потом вернулся и снес ее на руках в машину. Он отвез ее на речной откос, потом вынес наружу и под-

нял над самой кручей и сказал: «Говори, пойдешь за меня замуж, а то брошу». «Я тебя люблю, — сказала она. — Уже давно... Это ты дурашка...»

Юраша сказал ему, что после работы компания собирается на стадион — им, как приедем с семидесятой параллели, билеты устроили льготно. Пал Палыч сказал, что в управлении их всех очень одобряют и, может быть, даже будут показывать по телевидению. Анка сказала, что мохера нет, зато достала «Вертинского» последнего, на ней пластинки кончились, а механики заняты очередь за мясорубками. Володя сказал, что барана они купили, а Киракос сказал: кинзы нет, чернослива нет и какой же это будет плов, он себе не представляет и не о такой жизни он мечтал у себя в Ереване.

Потом он снял комнату без мебели, с одним матрасом.

И однажды она пришла к нему. Она сказала: «Расписываться не будем. Любим друг друга — пусть все так и будет. А тебе зачем расписываться? Чтобы было с кем разводиться?» «И ня думай, и ня мячтай», — сказал он. Он понял, что она уже совсем освоилась. И денег у них совсем не стало. Потому что у нее пошел диплом и стало не до заработков. И еще купили телевизор и коврик, чтобы сидеть на полу и смотреть телепередачи. «Это современно, — сказала она, — а при телевизоре сэкономим деньги на кино и театры, а также время на них». Денег, конечно, не сэкономили. «Ну, ничего, — сказала Глаша, усаживаясь на коврик перед телевизором, — ничего, что телевизор купили. Вещи привязывают людей друг к другу. Вон у Веры Ивановны, подружки маминой, все осточертели друг другу, а не расходятся. Барахло связывает. Холодильник в одном экземпляре, а телевизор, а письменный стол, а обеденный, а сервант как разделишь? Нет, вещи все-таки нужны». Вот как повернулся вечерний разговор. А ведь это утро начиналось счастливое и воскресное, и по телевизору крутили эстрадную программу, и Глашка мыла окна, и ходила по подоконникам, и плясала босиком чарльстон на непросохшем полу, и от ее улыбки разливалось сияние и скакали по стенам солнечные зайчики.

Потом они отправились гулять, потому что денег у них не было ни копейки, и Витька шел, как граф, незаконный муж графини Муравьевой. И тут Глаша увидела сливы на лотке — и народу совсем никого, только что привезли — и сказала: «У меня три копейки, я очень хочу сливу. — И спросила продавщицу: — Можно на три копейки купить сливу?» «Даже две», — сказала лотошница, посмотрев на Витькины метр девяносто. И Глаша купила две сливы, и они ели их долго — всю дорогу и выплюнули косточки только в кафе «Бригантина», где их ждал Юраша, чтобы накормить дурачков. Потому что он был одинокий и мужественно небритый, и зарабатывал кучу денег, и был не так глуп, чтобы вести такую жизнь, как эти доходяги, которые хотят быть чересчур умными. Это был самый счастливый день Витькиной жизни, а вот теперь вечером совсем не в ту сторону повернулся разговор о вещах. Нет, Глашка за деньгами не гналась. Она просто считала, что имеет право на все, а портрет красавицы должен быть вставлен в раму, ей подобающую. И тут по телевизору стали показывать передачу про семидесятую параллель.

«Ой, смотри... смотри... Это же наше село! Наше! — закричала она, и волнение начало ее бить. — Сейчас наш дом покажут... Нет, проехали... А вон та

дорога, где я стояла, машину ловила!» На экране показались фары, фары — колонна шла. Только никто не махал рукой головной машине. А диктор сказал, что в этих местах нашли кое-что полезное для жизни и затевается гигантская стройка. «В наших местах стройка, скажи пожалуйста», — промолвила Графиня и стала думать о своем. А Витька заснул на своем коврикe и опять не уследил нового поворота судьбы. «Вить, а Вить, проснись, — сказала Глаша, — я придумала. Защитим дипломы и завербуемся на эту стройку. Я там все знаю, не пропадем... Там же северные платят... Через два года привезем кучу денег, построим себе квартиру и ты меня в нее через порог перенесешь». Ему совершенно не хотелось уезжать из города, который он любил, в гробу он видел эту Тьмутаракань за семидесятой параллелью, его при кафедре оставляли, но, для того чтобы перенести Глашку через порог своего дома, он был готов на что угодно. Он ее любил.

Когда они ввалились на стадион и, погорлавив для приличия на скамьях, накрылись газетами, ему стало холодно, хотя солнце палило вовсю. Юраша уже разомлел от кофе с ванилью и еще с чем-то и сначала по ошибке радовался победам чужой команды, а потом заснул, когда стала выигрывать своя. Но за это его никто не презирал, потому что фактически Юраша был праведник.

Потому что всю жизнь он работал не покладая рук, жил, как трава растет, и всегда был доволен, так как никогда не обзаводился ничем, кроме друзей. Юраша проснулся и сказал, дохнув ванилью и еще чем-то: «Витька, я Графиню видел... Она штормы покупала... Может, пойти вмазать им всем?» И Витька пошел прочь со стадиона, и Юраша за ним. Их не хотели пропускать в ворота, но Юраша сказал, что лицам в нетрезвом состоянии запрещается быть в общественных местах. Он дохнул на билетера, и их сразу выпустили.

Первый год на стройке был тяжелый и хороший, второй полегче и похуже. Нетрудно было построить на этом парадоксе недорогую теорию. По этой недорогой теории трудный год был хороший потому, что была романтика дальних дорог и прочее в этом роде, а второй год романтика, дескать, поухохла и стало жить похуже. Так вот, как там у других было, Витька не знал, но у них с Глашей было как раз все наоборот. Первый год романтики как раз и не было, они честно выкладывались, чтобы заработать тот мифический рубль, который принято называть длинным, в тайной надежде, что он окажется неразменным, и потому им было хорошо. А на второй год романтики появилось сколько хочешь — комбинат рос, столовку переименовали в «Бригантину», привозная кинохроника показывала строителям сценки из их собственной жизни. Накопилась усталость, появились первые серьезные деньги и желание их тратить по-своему.

Сначала Глаше было труднее, чем ему. И не только потому, что она была женщина, а стройка, как ни крути, дело куда более мужское. Нет, Глаша была местная, это было ее родное село, и просто сначала ей было как-то чудно чувствовать себя командированной в том месте, где она родилась. Но это быстро прошло. Потом ей стало казаться, что все, кто знал, как она отважно шагнула в далекую городскую жизнь, тихонько подсмеиваются над ней, не поймавшей золотую рыбку и вернувшейся не солоно хлебавши. Но прошло и это.

А Витька часто думал потом: как могли они устроить себе из собственной любви такую ловушку? Но он понимал, что этот вопрос не оригинален и что если бы человек мог ответить на все вопросы, которые он сам себе задает, то окружающим его людям жилось бы значительно легче. И самое главное, первый раз в жизни Витька, который привык жить просто и понятно, не мог понять, что происходит с их жизнью, их любовью, с ним и с ней. Их полюбили там, на северной стройке. Их все полюбили — и Дед, начальник строительства, и Пал Палыч, и Анка, и Володя, и механики, и Киракос, хмурый человек. Друг друга они полюбили еще больше, с какой-то нежностью, почти болезненной. Они тянулись друг к другу так, как будто замаливали вину друг перед другом, как будто старались отдалить момент надвигающегося удара. И тут Глаша начала метаться. Проглядел Витька этот момент. А потом было поздно.

«Уже поздно, — сказал Пал Палыч. — Пора двигаться на телевидение».

Все устали за этот день, летний и городской, и никому не хотелось двигаться на телевидение, тем более что их ожидал плов-гигант и обратная дальняя дорога. Но Пал Палыч сказал, что если их увидит многомиллионный зритель, то это каким-то образом уменьшит волокиту с получением аппаратуры. И Дед сначала сказал «не стоит», а потом подумал и сказал: «Ладно». Дед был совсем еще молодой, а Пал Палыч в таких делах был дока.

Сначала у Глаши были доводы. Она теперь была девчонка образованная и знала все слова. И что принцип материальной заинтересованности никто не отменял, а у нее уже нет материальной заинтересованности здесь работать на стройке. И что если какое бытие — такое сознание, то, стало быть, она в своем сознании не виновата, а оно ей велит выбираться со стройки, пока она свою жизнь не загубила. И что хорошо, конечно, когда ты нужен, но она хочет быть нужной в том месте, которое ей самой нужно, а семидесятая параллель ей ни к чему. Но все это были доводы, а, как известно, любому доводу можно противопоставить другой довод, и это дает большой простор для казуистики. Но казуистикой занимаются тогда, когда забывается простое словечко «совесть». И тогда она, его жена Глаша, закричала: «Поверь!» «Чему?» — спросил Витька. «Я не знаю! — закричала Глаша. — Но поверь!.. Клянусь тебе!.. Ты думаешь, я хочу лучшей жизни? Нет! У меня стоп наступил!.. Я сама не знаю, чего я хочу!.. Я наделаю дуростей. Я знаю, что наделаю. Я хочу... я чувствую, что не знаю, как жить дальше, я запуталась!.. Клянусь тебе!.. Поверь!..» И тогда Витька сказал, кинул ей в лицо: «Врешь!.. Ты запуталась, потому что все время врешь!» Она стала тихая совсем и сказала: «Я не потому вру, что люблю врать... а потому, что не могу найти себя... Раньше я думала, что я есть, а теперь я куда-то девалась...» И Витька выбежал из избы, потому что его мутило от жалости, он не знал, как поступить.

Когда они на телевидении расселись за столиками с фруктовой водой и операторы навели на них камеры, Анка забормотала: что вот, мол, сейчас взгляды многомиллионного зрителя прикованы к этому столу с лимонадом, за которым сидят труженики того строительства, которое и так далее, — и ее с трудом утихомирили. У Анки в голове клокотали и перепутывались диктор-

ские тексты всех кинохроник, которые она просмотрела за эти три года. Она мечтала выступить по телевидению в роли диктора, и вот теперь ее мечта сбывалась с превышением. У Анки вообще все мечты сбывались — вот к какому типу людей принадлежала Анка. К счастью, их становится все больше. Они просто незаметны еще. И не потому, что мечты их скромны или незначительны, а потому, что непохожи на то, что считалось мечтами последние несколько тысяч лет. И это дело очень хорошее. Ну, к примеру: хотя она о Фоме Кампанелле и слыхом не слыхала, она мечтала о государстве Солнца, где все сильные и красивые и никто никого не боится. Или о том, что красота спасет мир, хотя и не знала, кто это сказал. В общем, глядя на вытаращенные глаза Анки, становилось понятно, что, если она возьмет верх, наступит жизнь, которая заслуживает называться человеческой. И, глядя на Анку, верилось, что к этому дело идет. И Витька верил, что в Глаше тоже есть этот свет. Верил столько, сколько мог верить. Но потом свет стал меркнуть и наступила тьма. Вспыхнули осветительные приборы, и диктор открыл передачу о стройке, начав, как всегда, с цифровых показателей, но сквозь эти цифры просвечивали глаза Анки, работницы с комбината, великого рядового человека.

Когда Глаша крикнула «Поверь!», он поверил — и не напрасно. Кончался срок договора, нехитрые вещи были уложены, и Витька шел домой с безнадежностью на душе сообщить Глаше о том, что им предлагают остаться еще на год и что он дал согласие. Он знал, что она бросит ему неотразимый довод: «Ты же сам не хотел ехать сюда», и знал: это давно уже не довод. Потому что он сам лично хотел, без уговоров, остаться здесь, потому что все дела в жизни он доводил до конца и его охватывала тоска, когда он думал, что заложил в этой стройке только фундамент и кто-то другой повесит на воротах города: «Добро пожаловать, новоселы!» И Глаша снова удивила его, хотя он уже устал удивляться.

Когда он, не поднимая головы, сказал ей, зачем пришел, глаза ее стали, как у Анки перед телекамерой, и она сказала ему, что любит его так, что сил нет, что она знала уже давно, что так будет, и что в сущности она его полюбила именно за это, потому что он такой, и это дело надо отпраздновать. И они отпраздновали это так широко, как смогли, и были здесь все, кого они любили и кто их любил: и мама — тихая женщина, и шоферы, и механики, и Юраша, и Володя с Киракосом, и Анка, и Дед, начальник строительства, и Пал Палыч. Все ели, пили и кричали песни, и Анка с Пал Палычем танцевали «Липси», и Володя, впервые охмелевший, порывался тут же, сию минуту отдать свою молодую жизнь за всех, кто здесь присутствует, и все уговаривали его этого не делать, и Киракос, хмурый человек, сказал, что о такой жизни он мечтал у себя в Ереване. И Глаша, счастливая, сидела рядом с Витькой и весь вечер держала его за руку, и от ее улыбки летали по комнате солнечные зайчики. Она отпустила Витькину руку только один раз, когда на минутку выскочила из комнаты, потом вернулась, одетая в полушубок, поклонилась в пояс онемевшим гостям, сказала: «Спасибо за все», — и выбежала в снежную темноту. Но Витька уже ничему не удивлялся. На дороге она подняла руку навстречу налетающим фарам колонны, и головная машина затормозила...

Потом после телевидения был плов-гигант, и опять за столом были все свои, и казалось, что все было, как на том последнем празднике, только за столом не было Глаши. Но она незримо присутствовала здесь и стала почти осязаемой, когда пришел запоздавший Володя. Он был молчаливый и разговорился не сразу и, наверное, лучше бы уж промолчал. На этот раз он не предлагал отдать свою жизнь за присутствующих, а предложил спасти невест, которых неправильно выдают замуж, — он был человек с идеями. А когда ему Анка крикнула «Молчи!», он рассказал, как он лазил на дерево, чтобы посмотреть в окна трехкомнатной квартиры Веры Ивановны, где справляли помолвку ее сына, кандидата в науку, и Глаши. И наступила общая тишина, и в общей тишине Володя сказал, что ничего не разглядел из-за спин, только видел, что эти паразиты гости ели плов, как нормальные люди, и еще он заметил включенный телевизор, и, значит, не исключено, что Глаша их всех видела, когда они выступали. Витька с Юрашей вышли покурить на улицу, а Анка сказала Володе: «Болван». Но Володя впервые не согласился с ней, и остальные ее не поддержали. А Витька с Юрашей сидели на ступеньках перед гостиницей и смотрели на спокойные ледяные звезды, и у Витьки в сердце не таял ледяной лучик звезды, когда он понял, как жалобно, как отчаянно пыталась Глаша в новом будущем доме сохранить хоть какую-то частицу того, что было там, на стройке, где Киракос, хмурый человек, учил ее делать плов-гигант, которым Глаша хотела теперь блеснуть перед будущим мужем и свекровью, подружкой маминной.

И все это было уже похоже на бред, и казалось, что этот плов уже едят во всех частях города, и все это потеряло значение праздника, когда, как это было прекрасно, Киракос, хмурый человек, отменил ее прозвище Графиня: зачем называть человека «Графиней», когда она богиня, зачем обижать женщину? Киракос относился к Глаше исключительно хорошо, потому что она позволяла себя учить, а он любил это занятие. А богиня была в лыжных штанах и в ватнике, и платок топорщился от праздничных бигудей, и никто еще не знал, что все так страшно кончится для них двоих. А теперь в квартире, переполненной дорогим барахлом, гордая и погибающая девчонка справляла поминки по своей любви, которые все вокруг называли помолвкой.

«Витек... — сказал Юраша, — Я твою историю с Глашкой все время помню... Врезалась она мне... Год целый все думал, вспоминал — сегодня допер». И дальше он своей речью, похожей на спотыкающегося о мебель человека, попавшего ночью в чужую квартиру, объяснил ему такое, что ему и в голову не приходило и чего до сих пор никто ему объяснить не мог. И он узнал, что, во-первых, он, Витька, не понимает людей, а во-вторых, что он, Витя Банькин, герой, моряк, красивый сам собою, и первопроходец, есть полный и окончательный дурак. Юраша терпеливо объяснил: «Чересчур ты гордый, Витя. Все хотел давать, давать, а не брать. Отнимать у человека ничего нельзя. Не имеешь права. А брать — обязан». Это была четко сформулированная мысль, и Витьке хотелось взглянуться в темноту: Юраша ли это рядом сидит, и он догадался, что Юраша никогда не был косноязычным, а просто чересчур привык, что к нему не прислушиваются. «Если человека любишь — бери от него. Не стесняйся. Если у человека не берут — он блажит. Ты хотел все только давать, а брать не хотел... Она миллионер, а ты с ней как с нищенкой... И ты потерял Глашку, Витя, и в этом твоя полная вина». Это был удар в солнечное

сплетение. Вполне неожиданный от Юраши. И от этого удара он согнулся и так сидел на ступеньках гостиницы, стараясь не умереть. После чего он обнаружил себя за домом Веры Ивановны в ночном скверике.

Он обнимал ствол старого дерева, терся щекой о сухую, шершавую кору и скрипел зубами, чтобы не заорать, глядя на окно второго этажа. Потом он сидел на земле под деревом и ничего не соображал, курил «Лайку» не с того конца, пока не услышал гул автоколонны. Потом колонна остановилась, и в скверик вошли Володя с Анкой и Юраша. Володя подвел их к дереву, Юраша сказал: «Пошли», и Витька поднялся и пошел к машинам. «Да не туда, — сказал Юраша, — к ним пошли. Он кивнул на окно. — Поздравись. И попросаешься как человек».

Юраша позвонил, и им открыли. Как в тумане они прошли в гостиную, где вокруг большого стола под австрийской люстрой сидели гости. Все повернули головы, и он увидел лицо Глаши. Витька пошел к этому лицу и шел долго-долго, бесконечно долго шел он эти несколько шагов, четыре года он шел через комнату, пока не остановился, обессилев. «Пришел!» — крикнула Глаша и рванулась к нему. Бесцветный молодой человек схватил ее за руку, но она отмахнулась и пошла к Витьке. «Пришел!» — крикнула она ему в лицо и, обхвативши его руками, с рыданием стала опускаться на пол. Он подхватил ее и поднял на руки, и она в беспмятстве уткнулась ему в шею. Юраша подошел к столу, взял у расступившихся гостей три чых-то бокала, налил в них подвернувшееся вино и подошел к Витьке. В квартире стояла полная тишина. Только молодой человек внезапно крикнул: «Глаша!», но Вера Ивановна усадила его одним движением полной руки. Да еще за окнами слышались голоса и гул моторов, да приглушенный телевизор бубнил футбольные комментарии из Европы. Юраша вложил в руки Графини два бокала и сказал: «До дна...» Не размыкая объятий, они выпили свое вино, Юраша выпил свое и отобрал бокалы. «Горько», — сказал он. И они поцеловались. «На счастье», — сказал Юраша и рванул об пол брызнувший осколками хрусталь. Потом он вытащил из Витькиного кармана три десятки и положил их на стол. На улице тенор затянул тонкой пронзительной скороговоркой: «Славное-море-священный-Байка-а- ал...», и они втроем пошли к выходу. «Мама!.. Они уходят!» — сказал молодой человек. «Славный корабль омулевая бочка-а-а- а...» — вел свое пронзительный тенор. «Гол! Гол!» — закричал отец, влипший в телевизор. Вера Ивановна смотрела вслед уходившим, и лишь ее было спокойно.

Внизу, перед дверью парадного, Юраша отошел в сторону и сказал: «Через порог». Витька отшвырнул ногой дверь и перенес Глашу через порог туда, где свежий ветер и заждавшиеся моторы.

«Эй! — хором протянули голоса машин. — Баргузин, пошевеливай ва-а-а-ал... молодцу плыть недалечко».

...Это маленькая история, но сквозь нее просвечивает время.

Мы к вам пришли

• Рассказ «Мы к вам пришли» опубликован в «Литературной газете» 28 апреля 1971 года.

Его долго искали, потом нашли. Все вокруг было переверорочено, продырявлено, размолото и перемешано. Ни одного целого предмета, где уж тут уцелеть человеку! Он лежал на животе, неловко подвернув голову, и грязная ушанка, припудренная взрывом, закрывала его затылок и шею. Крови не было.

Маргарита заплакала. Все сняли шапки.

Потом пришли медицинские девочки и доктор. Доктор отбросил грязную ушанку — шея и затылок были целы. Убитого осторожно перевернули на спину и увидели лицо белого цвета. Всех несколько шатнуло, но потом поняли, что это всего лишь мел.

Доктор встал на коленки. Растегнул ему телогрейку, потом гимнастерку. Тогда покойник открыл глаза и схватил доктора за руку.

— Ты что, — испуганно спросил покойник. — Ты что?

— А ты что? — обалдело спросил доктор.

— Сплю, — сказал покойник. — У меня увольнительная... Шапка где?

Потом приподнялся и стал шарить вокруг, отыскивая шапку.

Ну, тут Маргарита закричала по-немецки непонятные слова: «Хенде хох, цурюк, бутерброд», — и с разбегу прямо прыгнула на него и стала целовать в обе щеки. И там, где она его целовала, были розовые сердечки неправильной формы — не то рождественская открытка, не то девятка червей. И так она его облизывала и рыдала, а солдаты говорили: «Вот это да», медицинские девочки ревниво улыбались, а покойник дерзко хохотал.

Потом он сказал:

— Да погоди ты, Вероника жива?

— Я! Я!... — закричала Маргарита.

— Да не ты... Девка-то жива?

— Я! Я!.. — кричала Маргарита.

И тогда доктор дал ей понюхать нашатырного спирта.

Ну, был полный триумф, конечно, и дальше рассказывать неинтересно. Тем более, что салютов не было, а триумф дальше развалин водокачки не распространился — увял через пять минут, и все разошлись по делам дня.

Все думали, что он огромного роста, а он был маленький и честолюбивый, и это понуждало его вести двойственную жизнь.

Однажды он влез на косо поваленный додж-три-четверти и написал: «Мин нет. Петров». А потом разбитую машину оттащили с тротуара, и вышло так, что писал дядя аж под два метра ростом. Над ним смеялись те, кто знал, что он чересчур из себя низкорослый, но он вовсе не слышал этого. Он слышал в наушниках только гудение взрывоопасных предметов и голос своего честолубия,

которое толкало его писать «Мин нет. Петров» на двухметровой высоте. Потому что он хотел, чтобы когда он ошибется и его накроет черная вода, то в памяти людей пусть уж останется гигант-сапер. В памяти людей, в памяти людей, «Проверено. Мин нет. Петров», писк гетеродина в наушниках, нам нечего ждать милостей от природы, взять их — наша задача, идти на запад и расставлять на расчищенном пути самому себе кратковременные памятники: «Проверено. Мин нет. Петров». Ну какая разница — два метра его рост или метр шестьдесят без головного убора — и всего-то честолюбия у него на сорок сантиметров, господи! Какие пустяки, если мин-то действительно нет, а ведь человек разминировал Европу.

— Петров!

— Я!

— Увольнительная... Кузнецов!

— Я!..

Ну, про других мы рассказывать не будем. Неинтересно.

А Маргарита была худая, красивая, туфли без каблука, подол рваный — пробиралась через подвалы с Вероникой на руках, и еды никакой...

Была в Москве после войны такая история. Фамилий не называю, поскольку люди все здравствуют. Поступил в театральное училище демобилизованный солдат. Учиться на артиста. Зима наступила совсем прохладная, и преподаватель узнал, что нет у него ничего зимнего, лязгает зубами в плащике на рыбьем пуху любимый ученик, талант. Преподаватель дал ему шубу — носи. Носит. Потом перестал носить. Опять зубами лязгает. «Где же шуба, сапер, пропил? — спросил учитель. — Почему зубами лязгаете?» А ученик объяснил, что у них в общежитии есть собачка, а теперь она родила щенят и выбрала для своего гнезда его шубу, и ему теперь неудобно, не может он вытащить из-под них всех, из-под матери и из-под щенят, эту шубу... «Их много, а я один», — сказал ученик. А учитель и многие другие люди вот уж сколько лет помнят эту историю. Фамилий не называю, люди благополучно здравствуют. А ученик этот теперь очень хороший киноактер, и все его знают по ролям, потому что в них сквозь чужие слова, которые он произносит, просвечивают его собственные.

Темная клетушка со сводчатыми стенами была набита своими, а там, наверху, над подвалами, слышались взрывы гранат, автоматная стрельба и чужие русские крики. Потом все затихать стало. «Цум тойфель, — сказал старик с саквояжем. — Цум тойфель». Надо было сидеть здесь хотя бы до ночи. А там уже думать, как быть. Но девочка, Вероника, все плакала, ей хотелось есть. Боже мой, зачем все это, весь этот ад?.. Майн готт... только бы пронесло... только бы прошло мимо... Маргарита попросила у старика немного еды для ребенка. Старик захлопнул саквояж. «Цум тойфель», — сказал он. «Майн готт, только бы пронесло, только бы прошло мимо... Нет, не пронесло, не прошло мимо... Вот оно...»

Распахнулась дверь от удара ноги, и ворвался русский. Он закричал что-то и указал автоматом на дверь.

— Шнель! Шнель! — закричал он по-немецки и опять указал автоматом на дверь.

Но никто не двигался, конечно.

— Шнель! — закричал русский солдат и дал очередь над головами людей.

И тогда они, дрожа, начали проходить в темноту мимо него — все равно... там ли... здесь ли... Только Маргарита не пошла — у нее дочь на руках.

— А тебя что, не касается?.. Да живее ты... Господи, мучение с вами! — закричал солдат Петров, тот самый, помните: «Проверено. Мин нет. Петров»? — и схватил Маргариту за худую руку. Она дрожа смотрела на него огненными, незащищенными, ненавидящими, огромными глазами, которые были красивые, и вырвала руку, прикрывая дочь.

— И ребенок здесь? — взгляделся двухметровый гигант, честолюбец. — А ну, давай сюда девочку!

Вывал ребенка из рук немки и быстро шагнул в туннель.

— Найн! Нанн! — закричала Маргарита какие-то свои, немецкие слова и побежала за ним.

Петров несет кричащую девочку по туннелю, а Маргарита бежит рядом, кричит: «Найн! Найн!» — и хватается Петрова за локти.

— Живей давай, живей... Последние остались, — говорит Петров, прибавляя шагу.

Тогда Маргарита забегает вперед, падает на колени, обхватывает его за ноги и плачет горестно.

— Вот дура... Ну вот дура, — с отчаянием говорит Петров. — Вставай, тебе говорят... Тихо, не шуми, руих... — говорит Петров и пытается поднять ее одной рукой.

Но Маргарита бьется в ногах у Петрова, и девочка плачет, и вообще все плохо в этом проклятом туннеле.

— А, черт... — говорит Петров. — Что мне с вами делать? Зальет нас... Трубы прорвало, потонем... Мы здесь последние остались, понимаешь? — говорит он, глядя в безумные глаза Маргариты. — Ну будет, будет, — говорит он, глядя ее по голове. — Слышишь, вода? — он показывает пальцем себе на ухо, потом на туннель. — Вода, слышишь? Вассер... Понимаешь, вассер?..

Маргарита проводит рукой по лбу, поворачивает голову и прислушивается. И тогда становится слышен вкрадчивый плеск воды. И становится видно, как пыльное живое зеркало медленными, ленивыми толчками приближается к ним. Вот когда страшно-то... вот когда страшно...

— Бежать надо, — говорит Петров, показывая на воду. — Шнель, шнель!

Он бежит. Маргарита рядом с ним, исподлобья поглядывая на его красное лицо. А девочка плачет, освещаемая светом проломов в потолке туннеля. Они добегают до развилки и останавливаются.

— Последние остались, — говорит Петров. — А куда все пошли, черт его знает. Куда идти? — спрашивает он Маргариту, машет рукой и видит слабый свет.

Это пролом в потолке. Конец. Они упираются в завал — рухнула часть туннеля. А позади плеск воды. Мышеловка.

— Ну, фрау, попали мы с тобой, — говорит Петров. — Из-за тебя все, понимаешь? А у меня увольнительная...

Все она понимает. Пока бежала — все поняла.

А Петров замечает, что молчит, не плачет девочка, и глазки у нее закрыты. Еще бы... Разве для ребенка все это? Разве это для человека? Стоят люди и ждут, когда затопит их грязная вода. Сапер ошибается один раз.

Петров смачивает водой голову девочки, она открывает глаза и плачет привычно.

— Аа, ай, ай, такая большая девочка, а плачешь, — говорит Петров. — Тебя как зовут?.. Как ее зовут. Марта? Да? Или как? Маргарита? — спрашивает он, указывая на девочку.

Маргарита глядит на него исподлобья и говорит:

— Вероника...

— Вероника... ты чего плачешь? Не плачь... Плачет, — говорит он Маргарите.

Она говорит: «Эссен»... Она говорит: «Брот»...

— Бутерброд... вон что. Голодная... Подержи девочку, — говорит он Маргарите, и девочка приникает к матери.

Петров скидывает тощий вещмешок и запускает в него руку.

— Эх, ничего нету, что за дело, ну ничего нет... одни патроны, — говорит он, шаря в мешке.

Маргарита смотрит на него, и глаза у нее отчаянные и влажные, как у тушканчика, когда степь, и промытый дождем ветер гонит кислород, озон и что там еще полагается для жизни, а не вонь экскрементов и пороховую гарь.

— А я Мишка, Мишка, — говорит Петров. — Ну, скажи: Ми-ишка...

— Мишь-шька... — говорит Вероника по-иностранному.

А вода прибывает, и они взбираются выше, туда, где светлеет щель пролома.

— Не пролезть, — говорит Петров, просовывая руку в щель. — Неужели так и подыхать здесь, — говорит он безрадостно. — Разворотить бы чем-нибудь, — оглядывается он по сторонам и понапрасну толкает глыбу окостеневшего цемента.

Он снимает автомат, просовывает ствол в щель и налегает. Он только ломает приклад.

— Так... влипли... попались, — говорит он, оглядываясь.

Оглядывается и Маргарита и, посадив на камни Веронику, переползает в сторону и пытается вытащить некий торчащий из обломков предмет.

— Стой! Стой! Хенде хох! То есть как его... цурюк! Цурюк! — кричит он, и Маргарита останавливается.

Тяжело дыша, Петров пробирается к Маргарите и смотрит на этот предмет.

— Фу ты, так и есть... Смерть это, — говорит он. — Капут, вот что...

Он высвобождает из-под камней нескладный приклад с длинным стволом, на конце которого торчит пузатый снаряд. Он смотрит на снаряд и спрашивает Маргариту.

— А может, попытаться? А?.. Шнель, шнель... — говорит он и показывает Маргарите туда, где грязная вода. Она испуганно смотрит на него, но спускается, прихватив дочку. Петров просовывает снаряд в щель пролома, цепляет на спусковой крючок поясной ремень, к нему ремень от автомата, к нему лямки от вещмешка и отползает за выступ.

— На... надень каску... — говорит он, кидая каску Маргарите.

И она надевает ее, прижав к себе дочку. А Петров свободной рукой вытаскивает ушанку из вещмешка и прилаживает ее на голову.

Петров оглядывается и, длинно, толчками вздохнув, тянет за лямку...

Остановимся на минутку перед взрывом.

На старых тропинках, на гладких опушках, на темных прогалинах приятно писать стихи для самого себя... Тогда думаешь: дай останусь наедине с собой и тогда, может быть, на перекрестке дорог встречу я самого себя. Но тщетно. В пустом поле себя не встретишь. Не может человек быть один. Один человек — это даже и не человек вовсе. Эго все равно что по дороге, шлепаясь на пятерню, поскачет рука или вдруг покатится голова, высунув пыльный язык. Человек, он только тогда и человек, когда он понимает: все мы одно — народ, человечество. И тогда скажешь: люди, все, что вы полагаете счастьем на этой земле, вы можете получить от друга. Гоните в шею тех, кто думает иначе. И тогда земля станет как сад на рассвете. И шар земной помчится по Вселенной, пугая звезды запахом цветов...

Взрыв... Грохот обвала... Тишина...

Свет ясного серого дня освещает провал, где белая пыль тихо ложится на черную воду.

Сверху тянет ветерком и неторопливо проплывают потрепанные дождем облака. Потом Маргарита оглядывается и ищет глазами вражеского солдата Петрова. И потом она глядит и глядит в черный гибельный провал, где исчез русский солдат Петров, которого погубил проклятый снаряд.

— Мишенька, — говорит девочка по-иностранным.

И они уходят вверх по развалинам.

Ну, а триумфальный конец этой истории вы знаете. Мы с него начали этот рассказ, потому что не в нем, как вы понимаете, суть. А суть в непомерном честолюбии Петрова. И хотя могут сказать, что честолюбие его было всего лишь в сорок сантиметров, но в эти сорок сантиметров он упаковал очень важные вещи. Потому что честолюбие в своем первом значении — это любовь к чести, и именно этим, как вы знаете, оно отличается от тщеславия.

Остается объяснить некоторые загадочные детали. Увольнительную на четыре часа Петрову дали потому, что он попросил. Старшина ему всегда давал увольнительную, когда он просил. Потому что Петров был мастер, а мастера перегружать нельзя, он и сам работает, пока не свалится. Увольнительную свою он использовал не по назначению, потому что на уходе из «хозяйства Семенчука» узнал, что в подвалах люди, а водочка разбита. Разыскали его, потому что русских солдат привела Маргарита, а лицо у него было белое потому, что «сидор» его порвало и раздавило мел, которым он хотел расписаться на рейхстаге.

Вы все, конечно, помните фотографии шербатовых колони, исписанных солдатами, которые дошли до рейхстага. Самая лучшая надпись — это уже, конечно, мое личное мнение — была такая:

«Мы к вам пришли, чтобы вы к нам не ходили».

Кстати, надпись была сделана на двухметровой высоте.

Корабль с крыльями из тополиного пуха

• Рассказ «Корабль с крыльями из тополиного пуха» опубликован в журнале «Смена» № 13 за 1973 год.



Рисунок Александра МЕНШИКОВА

Тучи сегодня рваные, а день хороший. На крышах снег. Приезжает Медведев. Все.

Нет, не все. Я записала анекдот: «Какая разница между курицей? Ответ — никакой. У нее две ноги. Особенно правая». Смешно это или нет? Не понимаю. Раньше я понимала, что смешно, а что нет. Теперь не понимаю. По-моему, эта курица — я. Больше обо мне сказать нечего. И это вовсе не смешно. По крайней мере для меня. Медведев женится, вот в чем дело.

В прошлом году был важный разговор. Я его спросила небрежно: «Зачем люди женятся?..» А он ответил: «Зачем люди женятся на других? Ты это хотела спросить?..» Я высокомерно промолчала. Бестактность его не знает пределов. Мне завтра исполняется шестнадцать. Имя свое — Галина — я ненавижу.

Вообще я заметила, что у меня двойственное отношение ко всему. Перечисляю.

1. К одиночеству.

2. К вранью.
3. К загрязнению природы.
4. К Медведеву.
5. К приметам.

Это если брать главное. А уж насчет неглавного и говорить нечего. Это просто смешно, до чего я все переусложняю.

Возьмем обыкновенную вещь — сон. Казалось бы, тут и спорить не о чем. Сон для того, чтобы спать, чтобы мозги отдыхали. А у меня все наоборот. Я во сне так устаю от снов, что мне и не до сна вовсе. Как будто мне кто-то задал домашнее задание прожить вторую жизнь во сне, а наутро выйти к доске и рассказать своими словами.

Сны у меня бывают самые разные — веселые и грустные, иногда страшные. На выбор. Как в библиотеке. Иногда с продолжением в следующем номере. Иногда цветные, иногда черно-белые, как в кино. Но большей частью по трем программам, как в телевизоре. Но один сон повторяется раз в году столько лет, сколько я себя помню.

Мне снится, что я сижу в театре и на сцену выходят два солдата — молодой и пожилой. Пожилой в черных очках, слепой. Молодой его ведет, а слепой постукивает палкой. Потом палка проваливается в оркестровую яму, и слепой останавливается. Молодой говорит:

— Пошли дальше...

А слепой:

— Здесь был мой дом... Где он?.. Почему здесь яма?

А молодой отвечает:

— Дома здесь нет... Здесь воронка...

— А почему на той стороне воронки люди? — спрашивает слепой. — Я же слышу, что там много людей? Кто они?

— Это ребята, — отвечает молодой. — Они пришли посмотреть, как все это было.

— Скажи им, чтобы они ушли. Нельзя на это смотреть.

— Я говорил им, — отвечает молодой. — Они не уходят...

Потом дальше как-то все спутывается, потому что во сне я вижу роддом. И выходят жены и мужья и несут спеленатых младенцев. И только моя мама выходит одна. Тогда к ней подходит молодой солдат и говорит:

— Здравствуйте, Вера Николаевна.

— Здравствуй, Медведев, — отвечает мама.

— У меня был отпуск четыре дня, — отвечает Медведев. — И дальше я должен ехать обратно служить в рядах Советской Армии. Поезд уходит через полчаса, а вам привет от вашего мужа. Все его очень хвалят за подвиг и благодарят... Он велел мне передать, что он любит вас всю жизнь и вы ему снится по ночам... что, кто бы ни родился, мальчик или девочка...

— Девочка, — говорит мама.

— ...ему все равно. Лишь бы оно было здоровое, счастливое и умное... А если родятся двое или трое, то это будет еще лучше.

— У меня девочка, — говорит мама.

— И еще он прислал дочке подарок... Вот эти часы...

Тут Медведев снимает с руки часы и передает маме. И мама несет меня к машине. Часы начинают тикать возле моего уха, и на этом сон заканчивается. Этот сон я вижу каждый год перед своим днем рождения.

А мама сказала, вставая:

— Он никогда ничего не понимал, этот Медведев. Когда он мне передал для тебя отцовские часы, он не понимал, что я сразу догадалась, что отца уже нет... Потому что незадолго перед всеми этими делами отец твой написал мне, что встретил среди новобранцев Володю Медведева. И что тот сказал, что я у них в классе была пионервожатой... И что он поэтому очень привязался к этому мальчишке и даже подарил ему свои часы за какие-то его саперные дела... Так что я сразу догадалась...

Потом она подтыкает мне одеяло и говорит:

— Спи...

Если вы думаете, что Медведев часто к нам приходил, вы ошибаетесь. Я и видела его только раз в году, перед каждым днем рождения. И так всю мою жизнь. Поэтому все разговоры с ним были главные, и я их все помню.

Вот два разговора — оба давнишние.

Мы в школе проходили Салтыкова-Щедрина, и я очень увлеклась. Потому что после всей романтической чепухи, которую я себе напридумывала, такой вдруг здравый смысл, такое пренебрежение — прямо как свежий воздух в накуренную комнату. И мне стало хорошо жить. Потому что до этого мне лезли в голову всякие мысли насчет человечества, и я от них приходила в отчаяние.

А тут я читаю Салтыкова-Щедрина и думаю: «Хватит в куклы играть. Мне нужны общие взгляды, чтобы знать, как жить, а не картинки из чужой жизни».

И тут как раз приходит Медведев и говорит:

— Как дела, Шоколадка?

Когда я еще была в детском саду, у нас с ним установилась такая игра. Я ему однажды велела рассказать мне сказку.

Он спросил:

— Про что?

Я ему сказала:

— Про меня.

Он начал рассказывать:

— Жила-была девочка, и звали ее Шоколадка. Потому что она так загорала летом, что на всю зиму хватало. И еще потому, что она всегда приходила, когда ее звали. Бывало, кто-нибудь крикнет ей: «Шоколадка! Поди сюда!..» И она сразу приходила. Вот какая она была.

Я спрашиваю:

— А какая она была?

Он говорит:

— Она была отзывчивая.

Он потом мне всегда эту сказку рассказывал с продолжениями. А потом вдруг перестал рассказывать. И я помню, как это случилось. Это был второй разговор.

Мне тогда уже было двенадцать лет, и я училась в пятом классе.

Он пришел. Мы пили чай. Мама напекла рассыпучек, это такое печенье — морские звезды, сердца, полумесяцы, параллелограммы — когда ешь, нельзя остановиться. Я все ем и ем и не заметила, как у них с мамой начался спор. Мама его

опять ругала за то, что он не так живет, как надо. А это у них всегда надолго. Я поднялась и сказала:

— Спасибо.

Это у нас был сигнал. Он мне велел — как только я увижу, что он заговаривается, я должна подняться и сказать: спасибо. И тогда мы уходим за перегородку, где стоит мой стол, и он мне рассказывает сказку про Шоколадку.

Тут они замолчали, он встал, и мы пошли ко мне за перегородку, а мама начала убирать со стола. Мы уселись, а он молчит. Тогда я говорю:

— Ну...

А он говорит:

— Длинная ты какая стала, прямо ужас. Одна надежда, что потолстеешь.

Я говорю иронически:

— А может быть, тощие в моду войдут?

— Ого!—сказал он и опять молчит.

А я как в воду смотрела. Потом тощие в моду вошли, и я пользуюсь успехом. Только зачем мне теперь этот успех?

Ну вот, а тогда, в пятом классе, мы сидели у меня за перегородкой, и я все ждала, когда он начнет рассказывать сказку про Шоколадку. И на лице у меня была ироническая улыбка, чтобы он понял, что я все понимаю, что это никакая не сказка, а это я от него слушаю советы, как жить, что я уже давно выросла и все равно он пользуется моим доверием. А он все не рассказывает, и я ему опять, иронически улыбаясь, говорю:

— Ну что же вы?

Он спрашивает:

— Ты зачем меня из-за стола подняла?

— Чтобы вы не заговаривались.

Он говорит:

— Неужели тебе непонятно, что это не мне надо поговорить, а твоей маме?

Когда она меня учит, как жить, ей самой жить легче.

Я молчу, улыбаюсь иронически.

Потом он спрашивает:

— Говори правду: ты недавно эту улыбочку разучила?

Я молчу. Он покурил в форточку, а потом сказал:

— Ты сейчас знаешь кто?

— Кто?

— Ты сейчас — Справедливая девочка с четвертой парты... В каждом классе есть такая девочка. Справедливая девочка с четвертой парты.

Я спрашиваю:

— А это что, плохо, по-вашему?

Он отвечает:

— Может быть, и хорошо. Но сказки тебе почему-то рассказывать не хочется.

Он выкинул окурочку в форточку, размахал дым рукой и вышел. Потом попрощался с мамой и ушел.

А я смотрела в окно на крыши сараев, на грязный снег, куда упал его окурочек, и была вся как каменная. Он не догадался, что я его полюбила. Это было тогда, в пятом классе. Слава богу. Страшно подумать, что было бы, если бы он догадался. А так все упростилось. С этих пор никаких сказок он мне не рассказывал.

А в прошлом году приходит он и говорит:

— Шоколадка, как дела? Что читаешь?

Тут я обрадовалась, что меня назвал по-старому — Шоколадка, и рассказала ему про все. Почти... Про Салтыкова-Щедрина, про здравый смысл, про мещанство и стала ему читать цитаты из Салтыкова-Щедрина. А он все слушал и говорил:

— Да... да... Здорово... Отлично...

А потом вдруг сказал:

— Перечти еще раз.

Я обрадовалась, что он согласен со мной, и еще раз прочла. Там был такой отрывок, описание затхлого мещанского быта — скука, половики на скрипучем полу, за окном ветка белая от зноя, на пустой улице куры возятся в пыли, из кухни запах дыма, самовар ставят и оладьи пекут. Подохнуть можно. А он подумал и говорит:

— Какой великий художник... Чего бы я не дал, чтобы в таком домике пожить. Хоть пару месяцев, что ли, а?

Вот тебе и здравый смысл!

И опять у меня все перевернулось.

А теперь о главном. Я теперь как думаю? Я думаю, что когда говорят «тип», «типичный» — это удобно. Но только я думаю, что человек становится типичным, когда он средство путает с целью. Что значит, например, «типичный Дон-Кихот»? Это значит — цель благородная, бороться за справедливость, а средства устарели — копье, кляча, драки с ветряками, спасение проходимцев, никому не нужные услуги, от которых только всем хуже.

Я тогда была типичной школьницей, а Медведев человеком. Но только ему тогда нельзя было всего этого — скрипучих полов и прочего. Раньше ему это надо было, дом и тишину, когда эта Справедливая девочка с четвертой парты из него веревки вила. Справедливая девочка с четвертой парты, на которую я в какой-то момент стала похожей. Не уследила. А теперь эта тишина с оладьями для него гибель, когда она, наконец, за него замуж собралась. Зоя эта, одноклассница его, второй месяц у нас учительницей физкультуры работает. Вот уж кто типичный по всем статьям, прямо не женщина, а картинка гоночной машины. Как он этого не замечает! Он не понимает, что он не тишину ищет, а любовь. А сам на моих глазах становится типичным.

До свидания, Медведев. Только не пропадай совсем. Давай поменяемся ролями. Лучше уж пускай я буду Справедливой девочкой с четвертой парты, лишь бы ты оставался нетипичным.

В прошлый его приезд была такая история. Это мне Задорожный рассказывал. Из нашего класса. Он смешной. А может быть, даже не смешной, а искренний, не разберусь. Я сейчас совсем запуталась. Кто хороший, кто плохой — ничего не понять. Я вот Генку считала хорошим человеком.

Задорожного тогда выгнали из класса, когда шло общее собрание. Он стоял в коридоре и орал. И тут подошел Медведев, они и познакомились.

Задорожный рассказывал:

«Стою я в коридоре и ору: общее собрание! Сенсация! Обсуждаем поведение Галины Соловьевой! Неслыханное поведение Галины Соловьевой! Вдруг подходит мужик лет тридцати и спрашивает:

— Что ты раскричался?

— Слушайте! Слушайте! Первый раз в истории человечества! Нетипичный случай! Вина доказана!

— Погоди, какая вина? — спрашивает он.

— Вина доказана, потому, что она не может быть не доказана! Потому что она не может не быть доказана! А почему? Потому что она не может быть, не может быть, не может быть...

Он меня спрашивает:

— Ты можешь объяснить толком, что у вас происходит?.. Не вздумай опять орать, а то я тебя втолкну в класс.

— Нельзя. Меня выгнали.

— Это я понимаю... Так в чем дело?

— Соловьеву судят за поведение.

Он хотел войти в класс, но я загородил дверь и говорю:

— Нельзя. Вас тоже выгонят... Я продолжаю...

Тут я встаю в позу оратора и говорю голосом Зои Николаевны: «По-моему, дело ясное, правда, ребята?.. Я скажу по-простому, я ведь не только классный руководитель, я ведь спортсменка... Вы все любите спорт, а в спорте самое главное что?.. Правильно... Сплоченность команды... Если в команде заведется, в общем, если один человек противопоставляет себя коллективу, он должен уйти... Соловьева, ты что, заснула? Ребята, повторите, что вы ей инкриминируете! Басова, скажи, ты понимаешь, что значит «инкриминировать»? Не понимаешь? Это значит — «обвинять»... Тут выступает Басова. «Она ставит себя выше всех! Соловьева, мы тебя осуждаем за высокомерие!» Мужик тарашит глаза и говорит: «За что? За что?» А я ему: «Послушайте сами», и отворяю дверь. А за дверью орут девчонки: «Подруг не замечает!.. Ты скажи, Соловьева, ты хоть к кому-нибудь хорошо относишься?»

Задорожный всегда так рассказывает, как начинает гудеть, как начинает! Нет, он в общем-то мальчишка ничего, только орет очень. У нас весь класс его голосом может говорить, и даже все привыкли орать. Я очень могу представить себе, как они там в коридоре с Медведевым разговаривали, как Задорожный сказал: «Взбеленились... Это они из-за «аллеи ужасов», а Медведев спросил с интересом: «Ну-ка?.. Ну-ка?..» А уж голос Медведева мне вообще вообразить ничего не стоит. Задорожный рассказывает:

«— Там одному стало противно. Этот товарищ встал и объяснил всем, что они взбеленились, потому что трусы и боятся за Соловьеву заступиться...

— Что за «аллея ужасов»? — спрашивает Медведев.

— Ребята надевали простыню на палку и проносили ее в сумерках за кустами... Все девчонки думали, что привидение, визжали... Сейчас я им объясню... — Задорожный открывает дверь в класс и кричит: «Они же атеистки! Они против религии! Они только верят в привидения, в приметы, в тринадцатые числа, в черных кошек, в счастливые автобусные билеты, в дурной глаз!.. А так вообще-то они девочки смелые... На собрании... Когда все на одного!»

«Задорожный, выйди вон», — раздается спокойный женский голос, и Задорожный затворяет дверь.

— Во, старуха выступает! Она меня и выгнала!

— Да это же Ефросинья! — изумляется Медведев. — Неужели она еще преподает?

— Значит, и вы ее так звали?

— Ну, если Ефросинья там, она Галку в обиду не даст.

— Почему вы так думаете?

— Ничего я не думаю. Знаю и все... Ну, дальше?

— А дальше, одна Галка не испугалась привидения... Заложила два пальца в рот да как свистнет! Мы за кустами чуть с хохоту не померли, и простыня с палки свалилась... Потом приняли ее в свою компанию... Девчонки ей этого простить не могут... Этот товарищ поднялся на собрании и объяснил им, кто они есть, что они трусы и Генка тоже... А Генка заорал, что этот товарищ его предал. А этот товарищ сказал, что Генка сам Соловьеву предал, а между прочим, цветы ей в дверную ручку просовывал в ихней квартире, а потом по телефону мяукал таинственно... Тут они с Генкой чуть не подрались.

— А потом его выгнали из класса? Этого товарища, да? — спросил Медведев.

— Ага...

— «Товарищ» — это лучшее слово, которое придумали... Спасибо, товарищ...

— Да ладно вам...»

Они приоткрыли дверь класса, и тут я их увидела обоих, и мне прямо даже хорошо стало, или сердце заболело, или голова, даже не помню. А Ефросинья вдруг как раз встает и говорит:

— Так вот, дорогие мои... Я уйду из школы, если Соловьеву переведут в другой класс или еще что-нибудь с ней сделают...

Тут наступает резкий шум и тишина.

— Потому что она одна из тех учениц, ради которых я до сих пор работаю в школе и не ухожу на пенсию.

Вот это да! Мы же с ней всю дорогу ругаемся.

— Не понимаю... — говорит Зоя Николаевна, Справедливая девочка с четвертой парты. — Ефросинья Михайловна, вы же с Соловьевой ссоритесь все время... Вся школа это знает.

— Да, — говорит Ефросинья. — Ссорюсь... Потому что она моя любимая ученица.

Вот это да! От Ефросиньи всегда не поймешь, чего ожидать. А, между прочим, в сущности, она тоже моя любимая учительница. Так что мы квиты, но только ссориться я с ней буду во что бы то ни стало... Я запуталась, но, в общем, понятно, что я имею в виду.

— Я считаю, что надо поздравить Соловьеву с днем рождения, — говорит Ефросинья, — ...и на этом закончить дело... Вы не знали, что ей сегодня исполняется тринадцать лет... Соловьева, не реви... Задорожный и Медведев, закройте дверь!..

— Ну все... — сказал Задорожный Медведеву. — Против заслуженной Ефросиньи не попрешь... Лопнула вся их затея...

А потом двери нашего класса распахиваются, и все вываливают в коридор, и в классе остаются только Справедливая девочка с четвертой парты, заслуженная Ефросинья и я — сижу себе за партой, посиживаю. Мне уже все равно. Почти.

Потом входит Медведев.

— Володя? — притворно удивляется Зоя Николаевна.

— Здравствуй, Зоя, — притворно отвечает Медведев.

— Вот, явился наконец, пропадающая душа, — притворно говорит Ефросинья.

— Здравствуйте, Ефросинья Михайловна, — притворно говорит Медведев.

— Минуточку, — притворно говорит Зоя Николаевна.

Все делают вид, будто ничего не происходит, но хотя говорят вполголоса, мне прекрасно слышно. И тут я слышу разговор, который не каждый день услышишь. Потому что Справедливая девочка говорит Ефросинье, что было непедагогично с ее стороны заступаться за Соловьеву, то есть за меня, при всех и тем самым против нее, то есть против педагога. На что Ефросинья возразила ей, что непедагогично было в классе говорить о переводе Соловьевой, то есть меня, в другой класс, так как это дело педсовета, что непедагогично было сравнивать класс с футбольной командой, потому что педагогика не спорт, что непедагогично было хвалить за подлость подружек Соловьевой только потому, что их больше, а Соловьева, то есть я, одна. И тут все оглядываются на меня и начинают говорить еще тише. Но в классе хорошая акустика.

И вдруг я все понимаю. Каждый из них хочет поговорить со мной наедине, и потому никто не уходит. Мне становится не по себе, но я не уйду ни за что. Пусть выпутываются как хотят. Сегодня мой день. Праздник не получился, но это мой день.

— Ничего не понимаю! — говорит Справедливая девочка. — Да что Соловьева, особенная какая-нибудь? Исключение, что ли?

— Да, исключение, — говорит Ефросинья. — Как все дети... В школе только правила поведения одинаковые для всех... Но каждый ученик — исключение... Понимаете? Каждый ученик!.. Если вы этого не понимаете, вы не педагог...

И Ефросинья идет прочь. Один человек выбыл из футбольной команды. Единственный, с кем мне хотелось бы теперь остаться. Я слышу, как она говорит Медведеву: «Зайди ко мне потом» — и потом по коридору каблучками — топ-топ — как в песенке... Справедливая девочка подходит к Медведеву. Я сижу тихо, как мышь.

И тут она спрашивает его, зачем он пришел сюда, ведь они же стоворились встретиться у автоматной будки, а на это он почему-то отвечает, что она хорошая спортсменка, а Галка, то есть я, хороший человек и потому не боится быть самим собой, и что Ефросинья это любит, а «ты не любишь», и что поэтому «Ефросинья педагог, а ты пока еще нет...»

— Оставь... — устало говорит Зоя Николаевна. — Я сама этого не хотела, Так вышло... Это педагогика. Ты в ней ничего не смыслишь.

— Ты действительно не хотела?

— Да.

И вдруг Медведев окликает меня. Я вздрагиваю.

— Галка!.. — громко говорит он.

Притворяться бесполезно. Я поднимаю голову и гляжу на них.

— Галка... Зоя Николаевна говорит, что она не хотела всего этого...

— Спасибо... — говорю я, глядя на него в упор.

Он тоже глядит на меня в упор.

— Знаешь, я, пожалуй, пойду, — говорит он Зое Николаевне.

— Куда? — спрашивает она.

— По своим делам.

— Я тоже ухожу, — говорит она.

Но раньше их выбегаю из класса я.

А последний раз было так. Вдруг приходит телеграмма, что он приезжает, а на дворе весна. У меня сердце упало. Мама, конечно, подумала, что он приедет на носовоселье — мы получили квартиру в новом доме. Но я сразу поняла: причина не в

этом. Справедливая девочка с четвертой парты — вот причина. Весна. Неужели он не видит, какая она, эта Зоя, «справедливая девочка»? Я иногда даже думала, что это недоразумение. Знаете, как в оперетте героиня думает, что герой любит другую, а все зрители знают, что героиня дура и так далее. Но врать не стоит. Никакого недоразумения тут нет, просто он слепец, и там, где была Девочка с четвертой парты, давно уже никакой справедливости нет, и никакого дома у них не может быть, потому что в ней что-то когда-то взорвалось, и теперь она пустая и деревянная. Она ушла из нашей школы, Ефросинья оказалась права, педагога из нее не вышло, и что она делает сейчас, я не знаю, но что-то делает, и я не верю, что она делает хорошее. А он верит.

И вот я стою во дворе дома новостройки, а во дворе скамейка, а во дворе будка телефона-автомата, а во дворе силуэты тополей и синий свет луны.

— Это справочная? — говорю я в трубку. — Скажите... рейс 117... Да, из Омска... Давно прилетел? А как давно?... Это точно, что прилетел? Послушайте...

Но справочная кладет трубку — раз-два и нет разговора. И все становится ясно, как белый день, хотя на дворе темная ночь. Самолет прилетел вовремя, а Медведев не явился, и я жду его уже второй час. Вот так. Все как в страшном сне.

И тут, как во сне, во двор входит Ефросинья. Но это, конечно, не сон, просто она теперь живет в соседнем корпусе и, наверно, видела из окна, как я торчу у телефонной будки. Вообще мне кажется, что меня понемножку берут в окружение, и кольцо сжимается. Я слышала обрывок разговора мамы и Ефросиньи: «Что-то с ней творится», — сказала мама, и они заговорили о погоде, когда я вошла в комнату. Из чего следует, что разговор касался меня.

— Пуху-то, пуху в этом году, — говорит Ефросинья, ловит пушинку и садится на скамью возле меня. — Когда тополиный пух летит, кажется, что сама летаешь.

Потом она прислушивается.

— Электричка пошла, — говорит она. — Галя, тебе домой не пора?

— Ефросинья Михайловна, — говорю я. — Когда моя мама у вас была вожатой... она красивая была?

— Не хуже тебя... — отвечает Ефросинья. — Вообще ее класс был трудный. Володя Медведев особенно зарывался... Он влюбился в Зою Надеждину... Зоя тогда была совсем другая.

Потом мы молчим, а потом я спрашиваю:

— Ефросинья Михайловна... А зачем вообще нужна любовь?

Она секунду молчит, потом отвечает:

— Если поверишь, что нужен одному, — поверишь, что нужен всем.

— Ефросинья Михайловна, почему это так?... — спрашиваю я. — Человек кричит, а его не слышно?

На это она ничего не отвечает.

— Ефросинья Михайловна... — говорю я. — Представьте себе — один человек полюбил другого... Глубоко и страстно... А второй уехал на год в далекий город... А у первого был секрет — он часы переставил вперед на два часа... чтобы жить в одном времени со вторым...

Я начинаю задыхаться, как будто нырнула глубоко и никак не могу выплыть наверх.

— ...И вдруг первый узнает... что тот, второй... хочет жениться на ком-то... Как должен поступить первый?

Ефросинья думает, потом отвечает недовольно:

— Первый, второй, третий... Как на параде. А кто этот второй?.. Ладно, не спрашиваю... Рецептов тут нет... Дело решают взгляды на жизнь... Взгляды на жизнь этого, первого.

— Взгляды! — говорю я. — Любят не за взгляды!

— Ты знаешь... в конечном счете любят все-таки за взгляды. Взгляды — это не только речи, которые ты произносишь. Этому можно научиться. Взгляды — это вся ты, вся твоя повадка, способ общения с людьми... жадный ты или готов поделиться, терпимый ты или фанатик с белыми глазами. Чего ты больше боишься — что тебе будет плохо или твоему другу?..

Сидим на скамеечке, пух летит. А мы сидим и думаем.

— Ему не может быть хорошо, — говорю я упрямо, — ...если мне плохо.

— Ты уверена в этом?

— Уверена...

— Хорошо... — устало говорит она. — Тогда скажи ему об этом.

— Скажу...

Ефросинья Михайловна тяжело поднимается со скамьи, опираясь руками о колени, и идет прочь. А я кидаюсь к телефонной будке.

— Справочная... Рейс 117 из Омска...

Но тут во двор входит компания ребят, и среди них Генка и Задорожный.

— Дурачок ты, понял? — говорит Генка Задорожному. — С женщинами надо решительно... Хочешь покажу?

— Почему это ты... лучше уж я... — отвечает Задорожный.

Я выхожу из будки. Компания хохочет.

— Галка... — говорит Задорожный. — Мне всегда хотелось тебя поцеловать.

— Отстань, — говорю я.

— Я хочу тебя поцеловать.

— Я вот тебя сейчас по морде тресну.

— Наплевать, — говорит Задорожный.

Он подходит ко мне, я даю ему оплеуху.

— Правда, треснула, — удивляется он.

Компания хохочет.

— Ни одного поцелуя без любви... — язвительно говорит Генка.

— Между прочим, да, — отвечаю я.

— Тихо... Идет кто-то...

И вся компания исчезает.

А я сажусь на скамейку. Не приехал. Вот так. Или, еще хуже, приехал, а к нам не зашел. Не пришел. Отправился прямо к своей замечательной Зое Николаевне... А ведь, в сущности, она ведьма, отрицательный персонаж... Ах, Медведев, Медведев, сказочник... В сущности, я вас тоже выдумала... Не пришел... «Шоколадка, не торопись!»

— Генка! — кричу я в темноту.

— Чего тебе? — отвечает Генка, выходя из темноты.

— Поди сюда.

— Зачем?

— Поцелуй меня.

— Что?..

Он поцеловал меня. Я его оттолкнула.

— Противно, — говорю я. — Хочешь я буду теперь с тобой дружить?

— Почему ты решила со мной дружить? Тебе же противно...

— Потому что ты хуже всех... Хватит сказочек. Да здравствует реальная жизнь... Генка, что там горит?

— Горит?.. Это ребята тополиный пух подожгли.

Слышен топот, милицкий свисток. И вдруг я что-то начинаю понимать.

— Гена... — говорю я, и что-то во мне начинает обрываться, ниточка за ниточкой, как будто я вишу над пропастью, а ниточки все рвутся одна за другой, одна за другой. — Гена... — говорю я, — который час на твоих?

— Десять, — говорит Генка. — Еще рано...

— Не ври... — говорю я. — Двенадцать...

— Да, смотри ты.

И мы сверяем часы.

— У тебя на два часа вперед, — говорит он. — Во, врут часики!

— Нет... — говорю я. — Не врут... Просто они идут по омскому времени... Я забыла... Я забыла их переставить... Я все забыла... Уходи...

— Но-но... — говорит он.

— А ну брысь отсюда... — говорю я и иду на него.

— Вот ненормальная... — отступает он. — Ну, псих, честное слово.

Он поворачивается и идет прочь. Потом исчезает в темноте... Что же я надела-ла? И тут во двор входит Медведев. А я? Я прячусь в телефонную будку. Все потеряно. Я целовалась первый раз, и мне было противно, потому что я поторопилась, и теперь все ужасно...

Медведев вглядывается в темноту.

— Шоколадка... поди сюда, — говорит он громко.

Тишина. Ну такая тишина, что прямо тише не может быть.

— Шоколадка... — говорит он, и голос его печальный. — Сестричка моя названная... Ты обманула первый раз в жизни...

Тишина.

Потом он закуривает и уходит со двора.

А у меня в голове дурацкая частушка звонит: «Ты не гнися, не ломайся, зелененькая тросточка... Дольше, милый, не женися... Жди меня, подросточка...»

Ты не гнися, не ломайся, зеленая тросточка.

Я заплакала. Я опустила на корточки в ночной телефонной будке и плакала так, как будто я плачу последний раз в жизни.

Это было весной. Теперь зима, и перед моим днем рождения приезжает Медведев.

Вот звонок в дверь. Вот мама идет открывать. Вот он входит. Я сижу на кухне тихо, как мышь, и не иду встречать. Вот они входят в комнату, и у них начинается разговор про жизнь. Мама, конечно, спрашивает его, женился ли он. Он отвечает, что нет, не женился и начинает долго рассказывать, почему он не женился и почему у него с Зоей не получилось ничего, и говорит всякие житейские вещи, которые, конечно, правильные, но вовсе не относятся к делу. И потому, хотя все, что он говорит, чистая правда, это все вранье. Но потом он наконец добирается до сути. Он говорит:

— Вы знаете, Вера Николаевна... все, что я говорю, это, конечно, правда, но не в этом дело, и потому это все вранье...

— А в чем дело? — спрашивает мама.

— А в том, что я вдруг стал до нелепости умный и догадался, что все это вовсе не нужно... А знаете почему?

— Почему?

— Я тогда приехал весной, и у нас с Зоей все уже было решено... Но перед тем, как пойти к ним домой и делать формальное предложение, как говорили в старых романах... перед этим я зашел к вам во двор, где я должен был встретиться с Галкой, как мы сговорились.

— Ну... — говорит мама.

— Ну что ну?... Я пришел во двор и никого не застал... Галки там почему-то не оказалось... В общем, она меня не встретила...

— И все?

— И все...

— Легкомысленный ты все-таки человек, — говорит мама.

— Наверное, — говорит Медведев. — Но я вдруг первый раз понял, что вся эта затянувшаяся школьная моя любовь — чистая глупость и больше ничего... Вот теперь все...

Потом они молчат. Это моя мама делает ему знаки, что, мол, я сижу на кухне и что, мол, он должен переменить тему. Значит, скоро пора вылезать из кухни и идти здороваться.

Но мне уже ничего не страшно.

— Прощай, сказка, — говорю я. — Детство окончилось... Наступает моя юность... Какая она будет, я догадаться еще не могу, но детство закончилось... Потому что я поняла одну вещь...

— Какую? — спрашивает вдруг сказка.

— Я поняла, что нельзя торопиться в неизведанной области...

— Вот что я тебе хочу сказать, — говорит сказка. — С нами, сказками, никто не считается. Мы, конечно, мало видим, но зато мы искренние... И вот что я тебе хочу сказать, Шоколадка... Запомни: счеты со сказкой еще не кончены...

Я поднимаюсь с табуретки и, шаркая ногами, бреду из кухни.

Пора здороваться с приехавшим издалека знакомым.

Здравствуй, корабль с крыльями из тополиного пуха!

Грузовик

• Рассказ «Грузовик» опубликован в журнале «Памир» № 3 за 1974 год.

Еще солнце утром. Еще летние наряды на женщинах. Но уже потянуло из открытого окна холодной струей и шум грузовиков стал отчетливой по утрам. Какие-то звоны, стуки дальних работ, затрещал мотоцикл, все звуки и шумы и детский писк стали деловитее, гуще, и, главное, прохладный воздух омывает ноздри и легкие.

Еще никто не замечает, а поэт чувствует — идет осень.

Первый звонок осени. Значит дети будут съезжаться с дач и из лагерей.

Но главное — грузовик...

Вот въезжает грузовик во двор. Взрывает мотор, хлопают борта — видимо, переехал через булыжник или кусок арматуры или через крышку пожарного колодца.

Остановился. Издалека, с центральной магистрали, донесся звук многих моторов. Звук грузовика я отличу от многих звуков. Из всех звуков мирной жизни самый сладкий для меня — звук грузовика. Это осталось с детства. Какое было счастье, когда во двор въезжали грузовики.

Не то, чтобы во дворе не было машин. Въезжали. Но это были чужие машины, а грузовик был собственной машиной каждого из нас.

Это надо разъяснить. Вот, говорят, личное, общественное, частное, общее, собственное, государственное. Во двор въезжали и личные машины. Это были чужие бесшумные машины. Чужая личная собственность. Это были закрытые машины. Они вмещали несколько человек и были предназначены для того, чтобы возить нескольких человек и только возить их с места на место. Это были механические чужие ноги. Они носят владельцев. Когда въезжал грузовик — это въезжала радость. Он хрипел. В нем было все наглядно. У него хлопали борта. Он был государственным, и мы были государями.

Каждый из нас был его собственником, его владельцем, и у каждого чувство обладания удовлетворялось вполне.

Нет, грузовик — это не ноги. Когда въезжал грузовик — въезжал целый мир.

У нас был один несчастный мальчик. Он был сыном владельца лимузина. Его отец был каким-то работником внешторга и привез из-за границы Фиат. Мальчик носил отвратительный женский берет и бриджи с гетрами.

Когда во двор въезжал грузовик, мальчика звал домой женский голос из окна второго этажа.

И мальчик уходил.

Однажды он не послушался.

Вероятно, потому, что воздух в тот день прохладной струей омывал ноздри, и борта грузовика хлопали особенно отчетливо, когда он переезжал через

выбоину в асфальте. Мальчик не пошел домой, а вместе со всеми полез через борт и улегся в кузове на старые покрышки. И смотрел в небо, где над краями кирпичной кладки, над крышами плыли белые облака.

А в кузове десяток мальчишек вел неторопливый разговор о том, что бы каждый из них купил, если бы был Монте-Кристо. Обсуждались только детали, так как каждый из них знал, что надо купить грузовик. А так как никто никогда не слышал о владельце собственного грузовика, так как даже в фильмах про миллиардеров ни один миллиардер не ездил на грузовике, а только в лимузине, то было ясно, что только будучи Монте-Кристо, можно было мечтать о грузовике.

А потом мальчика увел домой моложавый успешный такой мужчина, а из окна смотрела моложавая успешная такая женщина. А потом в окно было слышно, как мальчика били, а молодая женщина то подходила к окну, то уходила в глубь комнаты и все говорила, говорила не переставая.

А мы стояли и слушали бормотание его мамы, глухие удары — мальчика били «по попке» — как говорила моложавая женщина, а мальчику было уже четырнадцать, и шофер слушал и жевал окурки.

— Бьют... — испуганно сказал самый младший, который отклеивал для шофера от своей папки с нотами барельеф, изображавший профиль композитора Бетховена.

Не то, чтобы слово «бьют» было для нас новинкой. Дрались довольно часто. И мы между собой, и соседним двором, и от взрослых попадало. Но это так и называлось: драться, нападдать, всыпать по первое, «вот я тебе задам», «сейчас тебе попадет», «пойдем стукнемся», и даже почему-то «намылить шею». И самому младшему, наверное, тоже надерут уши за испорченную папку.

Но нас никогда не били. А здесь именно били. И нас никогда не наказывали за «это». А здесь били именно за «это». Мы не могли понять за что именно — за «это». Потому что мы не могли понять, для чего, зачем его били, с какой целью его били.

Шофер, видимо, понимал это.

— Бьют... — испуганно сказал самый младший, отклеивая от папки барельеф Бетховена, и посмотрел на шофера.

Шофер выплюнул изжеванный окурки.

Прежде чем я научился курить, я научился так выплевывать окурки.

Шофер, не вынимая рук из карманов, выплюнул изжеванный окурки и не то сказал себе, не то ответил самому младшему:

— К хорошей жизни натаскивают... К сладкой жизни... Как собаку.

Потом мы услышали, как хлопнула дверь на втором этаже, как кто-то промчался по лестнице, и увидели, как из черной дыры парадного на солнечный прохладный двор выскочил мальчик и зажмурился, вероятно, от света. Потом подошел к грузовику и, задрав ногу на колесо, полез через борт.

Кто-то тихо спускался по лестнице и вышел из парадного. Это был моложавый отец мальчика. Только мы почему-то сразу его не узнали. Он отряхнул пиджак и пошел к грузовику.

— Шухер!.. — крикнул самый младший, который отклеивал портрет Бетховена.

Но мальчик и не думал бежать.

Он держался руками за крышу кабины, отставив задницу, которая у него, видимо, болела, и, задрав голову, сощурившись, видимо, от света, смотрел туда, где над кирпичными домами нашего двора-колодца легко бежали спокойные облака.

Моложавый мужчина окликнул его и, не получив ответа, подтянув брючину, чтобы не вытягивалась материя на коленях, поставил на колесо новый ботинок и взялся руками за борт.

Тогда шофер придвинулся и одной рукой легко снял чужую ногу со своего колеса.

Моложавый мужчина поскользнулся и чуть не ударился носом о борт.

Он побелел и отчетливо так спросил:

— Ч-то?..

— А вот то, — сказал шофер и спросил мальчика. — Где твой папа работает, знаешь?

Мальчик, продолжая смотреть на облака, кивнул:

— Слушай, деятьель, — сказал шофер папе, — у меня десять свидетелей... Ясно?

Моложавый папа посмотрел на нас, и ему стало ясно.

— ...Подтвердят, за что ты его бил... — сказал шофер. — Пострадаешь...

Папа посмотрел на моложавую маму, которая глядела в окно, приоткрыв рот, и она еле заметно кивнула. Мы все видели этот кивок. Папа повернулся и ушел в парадное.

Слышно было, как гулко скрипели на лестнице его новые ботинки.

Потом мы грузили ящики, и мальчик тоже. Возились вокруг мотора с промасленной ветошью, и мальчик тоже. Он был совсем счастливый. Потом шофер с грохотом опустил капот и взял у самого младшего картонный барельеф и, приладив его к кабине на противосолнечный целлулоидный козырек, пообещал самому младшему привезти завтра кусок черного коленкора, чтобы заклеить на папке белый след бетховенского профиля.

— Он ничего не слышал!.. — в восторге сказал самый младший, глядя на львиный силуэт в кабине.

— Это как сказать... — ответил шофер и сказал мальчику в берете: — Полежай в кабину... Ты сидеть можешь?

Мальчик кивнул, открыл дверцу и уселся в кабине на корявое промасленное, с выпирающими пружинами сидение.

Мы сыпанули через борт и расположились среди ящиков. «Тара» — они назывались.

Заревел мотор, и грузовик тронулся. Поплыли кирпичные дома, а облака остановились.

Потом мотор стал беззвучным — это значит под гору к переулку, без газа. Из окна второго этажа смотрели моложавые папа и мама. Шофер выплюнул изжеванный окурочок и спросил:

— Что же ты не в своей машине-то?..

— А что там? — ответил мальчик. — Одни диваны.

Грузовик тихо катил со двора к переулку. Хлопнули борта на выбоине, и им ответили ящики. Потом грузовик дал газ, и мы с ревом помчались по булыжному переулку.

Через несколько лет моложавые папа и мама переезжали в новую квартиру. Им нужна была большая площадь, потому что они переезжали только вдвоем. Так как мальчик уже год как ушел от них и работал шофером в автобазе и, как рассказывал наш знакомый шофер, имел уже два прокола. Долгое время я думал, что два прокола — это что-то вроде двух орденов.

Поэтому моложавым папе и маме нужна была большая квартира, где бы помещалось больше гостей, которым нужно было заменить одного мальчика, и где бы легче было разместить свою хорошую жизнь и свою тоску. Моложавый папа потом был в довольно больших чинах, а потом его сняли и уволили на пенсию. И мальчик давно уже не мальчик, и шофер стал лысым, и была большая война, и у мальчика дома в коробке два ордена, а у шофера — три, и он потом был начальником автоколонны, и про него написали стихи, не очень плохие и, может быть, даже хорошие, называются «МАЗ» — про одного начальника автоколонны».

Но зато у моложавых папы и мамы есть много подписных, совсем новеньких собраний сочинений старых авторов, и много хрусталя, который стоит, где только можно, на всех выступлениях мебели большой квартиры. И когда по улице пролетают грузовики, то никому не нужный хрусталь отзывается тихим звоном...

Другая сторона шоссе

• Рассказ «Другая сторона шоссе» опубликован в журнале «Советский экран», №5 за 1977 год.

Луна за окном была светлая, а шурыгинская квартира темная. Шурыгин уставился на Володю со своего дивана и спросил:

— Что дальше делать будешь?

— Не знаю... — ответил отрок Владимир. — Рабочую профессию, что ли, приобрести?

— Ну... — сказал Шурыгин. — Рабочий — это не профессия. Это образ жизни. А ты слабак...

Тут Володя заплакал, конечно, незаметно от Шурыгина, потому что он не профессию искал, а человечность. Только как про это расскажешь, когда слова катятся по одной дорожке, а поступки по другой? И еще потому, что вспомнил, как отец с мамой ругались перед ее командировкой и как ему от этого страшно было. Он их, конечно, не боялся, когда они вдвоем на него наускаивали, он их боялся, когда они друг с другом ругались.

И еще вспомнил, как он к отцу приплелся после маминого отъезда. Просидел в ветеринарной поликлинике без толку, все ждал, может, отец выйдет.

Старушка пришла со свертком, а в свертке голубь, три дня не ест. Доктор пощупал зоб и говорит: «Он у вас где-то наелся». «Значит, не голодный?» — спрашивает старушка. «Не голодный». «Спасибо, доктор, можно идти?» «Конечно». И еще огромная баба пришла — спиртным от нее на всю приемную, котеночка притащила, которого собака покусала. Унесли его на анализы, а обратно не вернули, собака бешеная оказалась. Баба в рев: котеночка жалко. Ей говорят: «Вас котенок кусал?» А она: «Да со мной — черт с ним, котеночка жалко...» А отец так и не вышел. Занят, наверное, был или же отмахнулся, не понять. И тогда Володя подумал: может быть, у них человечность распространяется только на птичек? Такие дела!

А этот Шурыгин смотрел на Володю и ждал упорно, когда тот начнет рассказывать, как и что, а Володя не мог начать. Элементарно, в общем, а как расскажешь?

— А ну давай с самого начала, — сказал Шурыгин.

— С момента рождения? — спросил Володя.

— Нет... Как ты в помещение школы попал?

Поскольку по летнему времени школа пустовала, то ее заняла киногруппа, которая снимала эпизоды из школьной жизни в условиях, приближенных к действительности. Народу вокруг собиралось — куча; помрежи, ассистенты и другие приближенные лейб-гвардейцы выхватывали из толпы разных типов, пригодных для массовки. Выхватят, отснимут, а потом еще и заплатят — распишитесь в ведомости. Красота!

— И меня схватили... Один козерог так и сказал: давайте сюда этого типа... Сняли. Монету дали. Мне понравилось. Художественно снимают да еще денег дают — кому не понравится?

— Мне, — сказал Шурыгин. — Люся, а тебе?

— Не-а... — сказала его жена из соседней комнаты. — Я смотреть люблю.

— Не суть важно, — сказал Шурыгин Володе. — Докладывай дальше.

— Потом тележку операторскую таскал с халтурщиками, нас на месяц наняли... А за углом — гастроном... Потаскаешь весь день, зайдешь. Кому не понравится?

Шурыгин на этот раз промолчал, а отрок Владимир продолжал доклад:

— Я фотокарточку матери собрался послать. Она... — замялся Володя, а потом решительно соврал: — ...в доме отдыха, в Цхалтубо... Меня кинооператор снимал. Он купил аппарат «Практику» и снимал меня, чтоб аппарат проверить... Мать очень беспокоилась, как я лето провожу...

Оператор снял меня, когда я стойку делал на руках на его тележке... А когда я карточку у него брал, то получилось, будто я эту тележку над головой поднял, как штангу, честное слово... Ну, я купил конверт, а на карточке написал: «Мама, твой сын встал на ноги»... А потом разозлился и написал правду: «Мама, твой сын встал на руки»...

— Очень ты правдивый, — сказал Шурыгин, дядя Ольги.

— Нет... Я не очень правдивый... Но сейчас правдивый.

— Димитрий!.. — позвала Шурыгина жена его Люся.

И Шурыгин вышел из комнаты.

В окно светила июльская луна, такая ясная и контрастно проявленная, что если присмотреться, то можно разглядеть, как по ней ползает луноход. Нервы, нервы. Очень нервный двадцатый век, последняя его четверть.

Вернулся Шурыгин и сказал:

— Жена мне велела на тебя не давить, а велела дать тебе таблетку... Давай глотай.

— Не надо... — сказал Володя.

И успокоился. Почти.

— Потом съемку закончили и объявили воскресник... чтоб устроить вечер отдыха. Встреча с артистами этой картины и композитором. Фильм покажут, буфетик, бутерброды с сырокопченой колбасой, танцы и пение... Солдаты обещали прийти...

— Какие солдаты?

— Или суворовцы... Не знаю... Их тоже снимали... Это ж не всесоюзный субботник или там воскресник... Это просто школу убрать, верно? А киногруппа деньги перерасходовала, объявление повесили: воскресник... А потом воскресник отменили... Народ объявление читает и расходится... Мне смешно... Не о том я все говорю... не о том... — сказал Володя и замолчал.

— Ну, не говори... спи, — сказал Шурыгин. — Утром потолкуем.

Повернулся, поскрипел диваном и задышал.

Все не то, и все не о том. А как расскажешь?

Володя лежал на раскладушке и глядел в потолок, на котором печатались мимо летящие фары... Мимо, все мимо, а как расскажешь?

Разве расскажешь, как он вышел из-за угла и видит — опять она во дворе стоит, Ольга ее звали, он потом узнал. Все разошлись со школьного двора («Кто перенес воскресник? — спрашивают. — Почему?..»). А все же разошлись, а она не уходит.

— Ты чего здесь стоишь?.. Уходи... Видишь, отменили воскресник? — сказал Володя.

— А кто отменил? — спросила она.

— Не знаю,— сказал Володя.

А ведь это он, Володя, воскресник отменил. Только сказать не посмел. Все вышло удивительно глупо. В общем, дурь одна и ничего более. Когда Володя с остальными халтурщиками в гастроном шли мимо школы, Володя взял да и написал фломастером поперек объявления: «Воскресник переносится на понедельник»... А как раз завтра, в понедельник, вся киногруппа выкатывается совсем из школы. Насовсем, навеки, навсегда... Как об этом расскажешь?

— Нельзя отменять, — сказала Ольга. — Сегодня вечер отдыха, а полы грязные.

...Сначала он просто смотрел ей вслед, как она шла по школьному двору, — складненькая — и подумал вдруг: жаль, что не учится в нашей школе.... Сидела бы за соседним столом и чуть впереди, а он бы смотрел ей в щеку, а она бы чувствовала это и стеснялась... Почему он это представил? Неизвестно. Дурь одна и ничего более...

...Потом он орал на нее, и довольно визгливо, когда она пришла от дворничихи с ведром и тряпкой и он понял, что эта дура собирается действительно мыть полы в школе. Одна.

— Да ты знаешь, сколько метров квадратных в коридорах? А зал? Хочешь, подсчитаю в среднем, хочешь? В среднем! Хочешь?! Дура, брось ведро! Какого черта ты должна отдуваться за всех, за чью-то глупость?!

Но он-то знал, что это была его глупость. А как расскажешь? Володе никогда не удавалось сказать главного слова, все вокруг да около...

— Уходи! Не дам я тебе полы мыть, отдай ведро!

Но она только обогнула его, как телеграфный столб, и пошла по коридору четвертого этажа прямо к залу; жаль, что она не из нашей школы.

— Ну зачем ты это делаешь, зачем?

— Полы ведь грязные, — сказала она.

Полная дура! Даже не дура, а ослица какая-то.

Володя спустился вниз, и сторожиха спросила его:

— Ведро брать будешь?

Потом они молча, не обращая внимания друг на друга, мыли пол в бесконечном зале, в двух бесконечных его концах, и Володя понял, что клеши его вельветовые уже никогда не будут иметь первозданного вида, потому что их пришлось подкатать. А снять их Володя стеснялся: плавки стандартные, с медной бляхой и ноги худые и белые, как вареная петрушка. А ему хотелось, чтоб ноги были волосатые и кривые от верховой езды и на них перекатывались бугры мышц, а не стоять в вельветовых клешах посреди лужи.

— Ты обжимай воду-то... обжимай тряпкой, — сказала она. — Иначе не соберешь...

Он не заметил, как она подошла, потому что в это время как раз думал про свои ноги. И еще он думал, почему она окает, может быть, она родом с Волги?

— Из Владимира, — сказала она.

Она тихая и ужасно упрямая. Ты упрямая, но и я упрямый. Ладно, разберемся. И Володя бежит за ней, отнимает ведро с грязной водой и приносит чистую воду ей и себе.

...Потом они работают, работают, работают, и у них делается все лучше на душе и весело совсем, работают, работают, работают, только эта дура не понимает, что фактически они проводят замечательный день и что у него сроду не было такой подружки.

— А чего ты в Москву приехала? Поступать куда-нибудь?

Нет. Она выпускница владимирского ПТУ. И поступила там на завод «Точмаш». Аккурат месяц назад. А в Москве у нее дядя и тетя, у них двухкомнатная квартира, а их Катька сейчас в пионерлагере. Прямо в их доме кинотеатр под названием «Факел». Удобно. А из окна видны огромные градирни — бочки такие в десять этажей, испарители, зимой я приезжала — от них пар идет до неба...

— Знаю... Я сам там живу, — сказал Володя, — на другой стороне шоссе.

И это сроднило их до удивления.

А приехала она в Москву в университет, на кафедру бионики, чтобы там рассматрели ее работу, которую она сделала в научном кружке.

— Бионика?

— Ага... Это наука такая... Она использует в механизмах принципы живой природы...

Это она ему рассказывала. Ему! Сыну ветеринара!

— Слушай, кто тебя там ждет? На кафедре бионики... Не лги!

Так и сказал — «не лги». Не «кончай трепаться», не «будет заливать», а так и сказал — «не лги». Потому что хотел дальше сказать: «Ложь — религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека», — чтобы было смешно, но забыл, как там дальше у Горького, и вышло глупо, и это опять отдалило их друг от друга. Хотя, конечно, если говорить правду, их отдалила бионика. Чересчур все прогрессивно у нее получилось, у этой Ольги. ПТУ, завод точного машиностроения, полы моет одна, бионика. Не девочка, а бригада комтруда, не девочка, а наглядное пособие, не девочка, а павильон ВДНХ, идите все в ПТУ, вот как растут наши молодые кадры, вы наша молодая смена.

— Дурак ты... — сказала Оля.

— Я ни одному твоему слову не верю, — сказал Володя.

— Ты спросил, я ответила, — сказала Оля.

— А между прочим, мы уже полтора этажа вымыли, — сказал Володя.

Он боялся на нее смотреть, такая она была красивая. В общем, дурь одна и ничего более. Как про это расскажешь?

...Потом они сделали обеденный перерыв.

Они ели сосиски и пили кефир из бумажных стаканчиков в стеклянном кафе, и Володю прохватывал ледяной ужас, когда он думал, что их увидят халтурщики и она узнает, почему сорвался воскресник. Расскажет наверняка этот Константинов с кривыми ногами кавалериста, который во время съемок таскал кабель от лихтвагена. И Володя затосковал. Конечно, можно будет переписыв-

ваться, когда она уедет, и до Владимира недалеко, и можно посылать карточки «Оля, твой знакомый встал на ноги».

И Володя встал на руки и пытался ходить по мокрому полу, и Оля смеялась, и он был счастлив, что она смеется, а сторожиха покатывалась со смеху и сквозь слезы говорила: «Вот дает! Вот дает, халтурщик!» А потом старуха ушла, и это опять их сблизило. Как про это расскажешь?

Чересчур все быстро скрутилось. Хотя так тоже бывает. Это когда все накопилось. И если притронешься, и тогда лавина, и тогда взрыв, клин выбивают и огромный корабль ползет в море по дымящимся доскам, и сумерки, и они уже домывают вестибюль.

Они еле держатся на дрожащих ногах, мокрые, грязные, они бы хотели, чтобы так продолжалось вечно, но уже сумерки и все должно кончиться. Вот уже Володя отнес последние ведра, а когда вернулся, Оля не смогла встать со скамьи у раздевалки, так она устала, а только смотрела на него снизу вверх. И тогда Володя не смог больше на нее смотреть и сказал сипло:

— Ладно... Пойдем зажигать свет... Все-таки полы мы вымыли.

Они зажгли всюду свет, а потом спустились во двор и смотрели, как полыхают окна и как по двору ускоренным шагом вдруг пошли торопливые люди, а сторожиха ругалась, что еще рано, но народ безмолвствовал, охорашиваясь на ходу. И Володя чесанул на задний двор, и Оля за ним.

— Почему ты удрал? — спросила она.

— Потому что слава мне ни к чему, — сказал Володя.

А на самом деле потому, что во двор входили халтурщики и с ними этот, кривоногий с лихтвагена, которому, конечно, сторожиха расскажет, кто мыл полы — нас на бабу променял, мамин сын, так? — и прочее в этом роде. А за чем это все?

Володя посмотрел на свои клеши и сказал, что вечер отдыха закончен, и Оля ответила, что — да... пожалуй, — и не продала, не пошла одна на вечер, и это было опять удивительно и прекрасно, и Володя пошел ее провожать.

А воскресные прохожие все время шли, все время их разделяли, разговаривать было трудно, и становилось совсем плохо, так как надо было прощаться.

— Я дальше не пойду, — сказал Володя.

— Да. Не ходи... — сказала Оля и ушла одна по улице, а Володя поплелся за ней.

И так они шли сначала медленно, а потом быстрее, потом еще быстрее, потому что Оля побежала. Остановилась, оглянулась, чуть было не заметила Володю и снова побежала. Потом влетела в подъезд дома, где кинотеатр «Факел», захлопнулась в лифте и уехала наверх, а Володя помчался по лестнице и увидел дверь, в которую она вошла.

Потом он спустился вниз, как во сне, и снова пошел к школе.

Он понимал — опять. Опять что-то могло произойти, но не произошло. Потому что кривоногий Константинов весь июль обучал Володю не быть простофилей, и что Володимир вовсе не владелец мира, а пацан, который никому не нужен, кроме как самому себе, и «вот я, например, работаю на соседнем заводе, взял бюллетень, плюс отпускные за июль, плюс договор с киногруппой, вот так, такая игра...». И Володя слушал его и все лето был умный, почти как Константинов, а сегодня он первый раз был простофилей. Оказалось, что больше всего

на свете он хотел вымыть пол и почувствовать себя простофилей. Только все уже было поздно и лопнуло, потому что Володя попал в собственную халтурную ловушку.

А на школьном дворе он увидел халтурщиков, которых выперли с вечера отдыха. Он повернулся и пошел прочь, а они увидели его, засмеялись и пошли вслед за ним, как в страшном сне. И Володя почему-то побежал и услышал за собой звуки, которые он слышал, когда был однажды летом у покойного деда в деревне, как будто гнали стадо. Почему он бежит, он не знал, и почему они гнались за ним, он тоже не знал. Может быть, они тоже этого не знали. Может быть, они хотели догнать его жизнь, а он убегал от ихней.

Они все бежали долго, и один раз им засвистел милиционер. Тогда все пошли шагом, а потом снова побежали, и Володя почему-то снова оказался в подъезде дома, в котором в кино и на плакате мчались всадники. Ноги сами принесли его туда, а потом на четвертый этаж, а рука сама позвонила в дверь, ожидая защиты от ПТУ, «Точмаша», бионики, от города Владимира и тихого девичьего упрямства, от павильона ВДНХ, от праведной рабочей Москвы, которая лютой ненавистью ненавидит слово «халтурщик» и все, что с этим словом связано. Он прибежал сюда, чтобы опереться на них спиной и защитить все главное, что стоит за твоей спиной. Потому что если есть что защищать — это и есть твое самое главное спасение. Но этому еще надо научиться.

И когда халтурщики его догнали, дверь открыла Люся, жена Шурыгина, Ольгина тетка, и спросила их всех:

— Вам кого?

— Его... — ответили халтурщики и покивали на Володю.

— Дмитрий! — крикнула Люся в глубину квартиры, и на площадку вышел Дмитрий.

— Иди, пацан, иди... — сказал Шурыгин.

И пропустил Володю в квартиру.

Потом Шурыгин вдруг упал на стоящего впереди кривоногого Константинова и свалил их всех вниз, и они летели через весь лестничный пролет, стуча головами и коленками о различные твердые выступы. А Шурыгин сказал, глядя вниз:

— Константинов, отпуск у тебя кончается, завтра зайдешь в завком... На тебя алименты пришли.

— Ну, заяц, погоди... — сказал кривоногий, поднимаясь с пола.

— Кончился у меня с тобой разговор... Тебе в Москве тесно стало... — сказал Шурыгин и вошел в квартиру.

— Я попрощаться хотел с вашей Ольгой, — сказал Володя...

...Потолок стал светлым, и на нем перестали пролетать и суетиться фары.

— Оля... — тихим голосом сказала тетя Люся. — Вставай, ради бога...

Потом Шурыгин и Володя идут умываться, и Володя видит, как Люся делает огромный бутерброд и как Оля делает огромный бутерброд и руки у нее дрожат, а на щеках у нее лихорадочные пятна, и она совсем некрасивая и потому совсем красивая. И Володя догадался, что больше всего на свете он хочет, чтоб каждый день было так — утром большой бутерброд, сделанный Ольгой, днем мыть с ней полы в школе, вечером побеждать Константинова, а ночью разговаривать с Шурыгиным. Но понимал, что так не бывает и его сейчас после

завтрака выпрут навсегда, на веки веков, потому что ничего не повторяется, а значит, и хлопотать не о чем.

— Пиши матери письмо, — сказал Шурыгин после завтрака. — А уж брошу я сам.

И Володя садится и пишет: «Мама, я, кажется, встаю на ноги».

— Зачеркни «кажется», — говорит Шурыгин.

Володя зачеркивает «кажется», и Шурыгин ждет, пока он напишет адрес, и отбирает конверт.

— От нуля... — говорит Шурыгин. — Начнем все от нуля.

— А как же рабочий стаж? — глупо спрашивает Володя. — У меня месяц рабочего стажа пропадает. Я весь июль тележку таскал.

— Ничего, — сказал Шурыгин. — Будешь получать пенсию на месяц позже.

— Дмитрий Николаевич, — говорит Володя, — а то, что Ольга на кафедру бионики приехала, это правда? Или врет?

— Похоже, что не врет, — сказал Шурыгин.

— Если не врет, тогда все совпадает, — сказал Володя.

— Я в Москве еще три дня. буду, — сказала Ольга.

— Ольга, отстань, — сказал Шурыгин.

— А я в массовке снималась, когда школьную перемену показывают, — сказала Оля. — Я стою у самой лестницы... Второе окно справа... Приметила, когда снимали... Когда кино выйдет, ты меня разгляди...

— Я разгляжу, — сказал Володя.

— Ольга, на завод опаздываем, — сказал Шурыгин. — Мне еще надо на счет твоего поговорить.

— Я вечером позвоню, — сказал Володя.

Ему почему-то казалось, что он переезжает с той стороны шоссе на эту.

Лошадь на морозе

• Рассказ «Лошадь на морозе» опубликован в журнале «Студенческий меридиан» № 2 за 1983 год.



Рис. В. Мочалова

Кому он такой нужен?

И отлетели куда-то все мои выдумки о себе, к которым я привыкла и забыла, какая я есть, а когда-то помнила.

И все закрутилось и понеслось куда-то.

Мне тогда очень худо было, когда я Андрюшу на бульваре дожидалась, я себе голову дурила, будто не понимаю, в чем дело, хотя все было яснее ясного.

Но чтобы я поверила, что все яснее ясного, надо было, чтоб на бульваре появился старичок.

...Верблюды промчались справа налево...

...Олени промчались слева направо...

...Открылись двери застекленные, и толпа бросилась внутрь огромного зала автомагазина.

Поток машин мчится. Лак, никель. Ослепительные блики солнца. Зажегся красный свет. Белые полосы «зебры» перехода. Заспешили пешеходы, торопятся перейти улицу. Бегут все быстрее, и «зебра» пустеет.

А красный свет все горит, а нетерпеливые гудки машин в рев сливаются. Но не обращая внимания на ревущие машины, через улицу идет старичок о темной шляпе. Он движется еле-еле и наконец добирается до тротуара.

Так я его впервые увидела.

Зеленый свет. Застоявшаяся армада срывается с места и пролетает мимо, ослепляя меня лаком, стеклом и никелем.

Регулировщик платком утирает пот.

— Кто это? — спрашиваю я. — Что это за старичок?

— Коля Луноход, — отвечает он. — Коля Луноход на бульвар отправился.

Сейчас к нему Сережа придет.

Я отворачиваюсь почти суеверно.

Андрюша мне говорил:

— Люда, берегись стариков и не любопытствуй, они нам головы морочат. Увидишь старика — отвернись.

Я смеялась.

— Почему, Андрюша?

Да, видно, не убереглась.

Не пришел Андрюша.

С чего вы взяли? Все нормально. Не пришел, и ладно.

Листва шелестит. Утренний бульвар пустой еще, и я прихожу туда первая, хотя уже четвертый раз бегала звонить по телефону.

Я всех обогнала. Я читаю книжки, ноги у меня смотрятся при любой моде, но нет мне удачи. Поэтому на скамейке напротив уселся Коля Луноход, потом какой-то гражданин с картой автомобильных дорог. А когда-то на скамейке напротив уселся Андрюша мой. Кстати, тоже с картой автомобильных дорог. Но это было весной.

Коля Луноход заискивающе улыбнулся и сказал гражданину:

— Когда в двадцатом году меня в армию призвали, достался мне трофейный французский броневик системы «Рено». Между прочим, с двумя моторами. Вперед-назад ездить — либо пересаживайся, либо второй шофер нужен. А конуса слабые — чуть что, летят. Плохая машина.

Гражданин посмотрел на него исподлобья и пересел на другую скамью.

Тогда Коля Луноход обратился ко мне:

— А еще помню, как Лев Толстой помер. В десятом году. Мне тогда семь лет было. Меня отец выпорол, когда граф Толстой помер, народный заступник, чтобы я запомнил этот день. Я запомнил.

— Послушайте, вам поговорить не с кем? — спрашиваю я.

— Да, — сказал Коля Луноход. — Я Сережу дожидаясь, а он не идет.

— Господи... — говорю я и иду бродить по дорожке. Взад-вперед, взад-вперед, пересаживаясь в мифическом броневике «Рено», и у меня тоже какие-то там конуса плохие и летят к черту, а второго шофера все нет и нет. Нет-нет, все нормально. Главное, я ему нужна.

Я оглядываюсь и вижу, что печальный Коля Луноход поднялся со скамьи и пошел прочь по дорожке, уводящей в зеленую шелестящую даль. Становится жарко, и Коля Луноход снял шляпу.

Неужели и я такая буду, когда постарею?

— Коля!.. Ко-оля! — раздается дальний оклик. — Луноход!.. Эй!.. — наконец услышал он, перестал шаркать по песку и оглянулся.

Его догонял старый темпераментный человек в лихо заломленной белой кепочке. Неужели это и есть Сережа? Ну, этот совсем другой, в руках у него тяжелая сумка, и перед ним расстилается иной мир, прекрасный утренний мир, полный машин и прохожих, витрин и асфальтоукладчиков, свет и тень, и треск отбойных молотков, ломающих старый асфальт.

— Мир хорош... когда влюб-ле-он! — запел Сережа. — Посмотри, как он хорош!

— Одиннадцати нет, а уже поет, — сказала женщина с коляской.

Бульвар потихоньку заполняется.

— Ну что же ты, Сережа? — мягко упрекнул его Коля Луноход.

— Принес?

— А как же? — И он вытащил из сумки шахматные часы.

— Блицтурнир, — сказал он. — Уимбалдонский.

Коля достал из кармана дорожные шахматы с дырочками и натянул шляпу.

Тут я иду мимо них, а они втыкают фигурки.

— Деушка-деушка. Погляди на игру, — сказал Сережа, тыкая фигурками в доску. — Уимбалдонский блицтурнир... Молодые пенсионеры против старых.

— О, господи! — говорю я и медленно иду дальше. Прохаживаться.

Клянусь, теперь я хорошо знаю эту пару. А раньше для меня была загадка — как можно так жить и, главное, зачем?

— Фыр-фыр-фыр, — сказал Сережа мне вслед. — Подумаешь!

— Без зрителей какой турнир? — сказал Коля Луноход. — Скушно.

— Коля, что это ты такой?

Торопиться мне некуда, и я все слышу.

— Какой? — спросил Коля Луноход.

— Вроде не в себе, — сказал Сережа. — Нет... Так дело не пойдет... Не та игра... Ну, Луноход, говори, в чем дело?

— Сережа... — сказал Коля Луноход. — Помру я скоро.

Я втягиваю голову в плечи и иду звонить по телефону.

Нет-нет только не это, только положительные эмоции.

«Андрюша, Андрюша, чему же ты меня еще учишь?» — думаю я, направляясь к телефонным будкам.

Он у меня философ.

Он меня учит:

— Главное — не любопытствуй, а то увязнешь. А увязнешь — придется или действовать по чужой программе, или выкручиваться. Запомни, у нас своя линия...

Спрашиваю:

— А какая наша линия, Андрюша?..

Он смеется:

— А никакой. Никакая линия — это самая лучшая линия...

— Это же беспринципность, — говорю...

— Ну почему беспринципность? Этот принцип не хуже других. Главное — все всем обещаю, люди любят обещания. Главное — пробуждай надежды. Пробуждай и пробуждай. Буди. Люди любят, когда у них пробуждают надежды. Логично?..

— Значит, и мне на тебя не надеяться, Андрюша? Логично? — спрашиваю.

— Ну почему же? — отвечает. — Ты мне самому нужна. При чем же тут логика?

Ну я сразу успокаиваюсь. Если я ему нужна — можно не беспокоиться. Что ему надо, он добудет. Андрюша мой.

А солнце жарит, мелькают машины, и стоит длинный ряд красных телефонных будок, в каждой из которых кто-то ищет связи — связь, связь, дайте связь, есть связь? Это я! Я! Люди толпятся, ожидая своей очереди. Гомон переговоров, люди стараются перекричать соседей и самих себя. Кто о чем. Об отпусках, о ГУМе и ЦУМе, о больницах и свиданиях, о ВДНХ и очереди на автомобиль. И кажется, что все разговоры и крики в будках разные. А на самом деле все об одном — я кричу тебе, почему не отвечаешь, а если отвечаешь, то почему не так, как мне надо.

И до меня начинает медленно доходить, что все дело в будках.

И понимаю, что это смешно. Ну что ж, кто может — смейтесь.

А вон опять приближаются Коля и Сережа. Я их начинаю бояться, как черных котов, в этой боязни никакой логики. А мне надо знать, что я Андрюше нужна, и это главное — вот логика.

— Я те дам! Я те дам! — бодро говорит Сережа. — Собрался он помирать... Ишь ты!

— Зря сказал я, — говорит Коля. — Ты спросил — я сказал.

— Глупые мысли. Тебе сколько годов, если не скрывать?

— Семьдесят восьмой.

— Ну насмешил... А мне семьдесят. Проживешь свои сто и еще пятнадцать лет нахалю.

Я поднимаю глаза, они проходят мимо будок, а у меня кончаются монетки и терпение. Как говорит Андрюша, когда работает под пилота дальних рейсов, у меня кончается ресурс. Он ничего себе, я ничего себе.

Но я его жду, жду, жду, и все выглядит как-то не так. И на этом все. На этом кончаются мой разговор со мной и мой ресурс. Теперь займемся окрестностями.

Мы едем мстить

Дальняя картина видна вся, а от ближней — только подпись автора.

Ах, Людка, Людка!

На следующий день меня на бульвар как ветром принесло.

Испугалась, не скрою. Будто на меня аркан накинули.

Нет. Оба на месте. А я стараюсь отдышаться.

Коля включил часы и сделал ход.

— Смотри, — сказал Сережа. — Опять пришла... Ходи.

— Кто?

— Маруська. Все ждет... Ходи-ходи...

— Я этой Маруське про графа Толстого, — сказал Коля. — А она: «Гражданин, вам поговорить не с кем?»

Я только поеживаюсь и смотрю на песок ровенький. Следов столько, что следов не видно.

— Между прочим, я его адрес достал, этого нового шахматиста Геннадия Васильевича. Давай сходим, Коля? Я хочу ему в глаза поглядеть.

— А то еще я тут одному про броневик «рено» рассказываю... а он на меня как на психа... И на другую скамью отсел...

— Вот дает! А я про что? Я этого Геннадия Васильевича...

— Погоди, — сказал Коля. — Я не про это... Жили мы жили, и всего навидались, и всякое с нами бывало, так?.. А все же думали — ладно, пускай я все это пережил, ладно... А все же кому-нибудь это пригодится, так? Или не так?

— Ну, так, — сказал Сережа.

— Ладно, думаю, мне ничего не жалко, перенес, и ладно... детям будет что рассказать... дети придут и послушают, — сказал Луноход. — И будут меня уважать, что я за них половину тяготы принял и что им не с нуля начинать.

— Ну, брат... ты тоже не с нуля начинал, — сказал Сережа.

— Верно, — сказал Луноход. — Вот мне отец и всыпал за графа Толстого... Я кричу: «За что? Я его и знать не знаю, твоего графа!» А он мне: «Вот за это самое, что не знаешь...» А теперь по той улице машины бегают, и в них детки Геннадия Васильевича и его внук Дима... я что мы с тобой видели, им ни к чему... И выходит, мы с тобой опростоволосились.

Будто на меня аркан накинута, а я боюсь, как бы не оборвался. Аркан невидимый...

— Маруся! — окликнул Сережа. — Эй! Маруся!

— Ну что вам? — сказала я. — Меня Люда зовут.

— Люда, хочешь, про жизнь расскажем?

Это уже перебор. У них свое, у меня свое.

— Меня тут никто не спрашивал? — вяло интересуюсь я.

— Я ж тебе велел — не жди его, — сказал Сережа. — Не жди... Он на «Жигули» коптит.

— А что плохого? — засмеялась я, как ни странно, весело.

— Люда, пошли с нами в гости, — сказал Сережа. — Все равно не дожدهшься. Ну? Пойдешь?

И во мне началось ускорение. Не знаю, как по-другому сказать.

— А куда?

— К Геннадию Васильевичу.

— А кто это?..

— Утконос-ехидна.

— Утконос и ехидна — разные животные.

— Много ты знаешь!

— Знаю... Я в Тимирязевке учусь, в сельскохозяйственном.

- Ишь ты... Тракторы изучаешь?
— Нет... Лошадей...
— Сережа... брось... — сказал Коля Луноход.
— Коля... она свой человек... Ну, Люда, решайся...

Когда человек идет прямо, он все время куда-то сворачивает. Так устроен его вестибулярный аппарат, так устроен человек. И чтобы идти прямо, ему надо делать поправки. Иногда он от этого устает. И тогда он садится в трамвай, и трамвай бежит по рельсам, проложенным не тобой.

Дверь нам открыла дочь Геннадия Васильевича, Валентина, в очках.

- Нам вашего папу, — сказал Сережа.
— Геннадий Васильевич завтракает... Что такое?

Сережа отстраняет ее:

— Коля, Люда, входите.

Мы входим.

- Кто вы такие? — нервно спрашивает Валентина.
— Из угрозыска... Знаючи, — сказал Сережа. — Зовите вашего папу.
— Кто вы такие?! Я вас спрашиваю!
— Его зовут Коля Луноход. Меня — Сережа, а это Люда. Племянница...

Зовите папу.

— Зачем вам отец? — тихо спрашивает Валентина.

Пора вмешиваться.

— Они шутят, — говорю я. — Они в гости пришли.

Лучше бы не влезала.

— В чем дело? Зачем вам Геннадий Васильевич? — кричит его зять Дронов.

И понеслось.

— Представляешь?! — крикнула Валентина. — Два шахматиста! Те самые,.. С ними какая-то девка!

— Пойдемте!.. — говорю. — Дядя Коля! Дядя Сережа!.. Пойдемте!

В прихожую вваливаются Геннадий Васильевич и Дима.

— Дед! — кричит Дима.

— Уйдите, папа! — кричит зять Дронов. — А вы все вон отсюда!

Геннадий Васильевич подскакивает к зятю:

— Как ты со стариками разговариваешь?! Они старики! — кричит Геннадий Васильевич. — Как разговариваешь?

— Да! — кричит Сережа.

— Дядя Сережа, идем! — кричу я.

— Это мои гости, — кричит Геннадий Васильевич. — Мои!

— Да, — кричит Сережа.

— Папа! — кричит Валентина.

— Я вам всем п-окажу! — кричит Геннадий Васильевич. — Это мой дом!

— Точно! — кричит Сережа.

— Да уведи ты их... — говорит Дима. — Как тебя, Люда, что ли?

— Это мой дом! — кричит Геннадий Васильевич.

— Вот я вас всех! — кричит Коля Луноход. — Вот я вас всех!

— Дядя Коля, не волнуйся! — кричу я. — Не волнуйся... Идем!

— Родные мои... — говорит Геннадий Васильевич. — Я с вами, я сейчас, я сейчас...

Он исчезает и тут же возвращается.

— Молодец... — говорит Коля. — Мы шахматисты.

— И я шахматист.

Старики выходят. Уже на лестнице слышим их голоса, а у меня ноги не идут.

— Может, проводить деда? — спрашивает Дима родителей.

— Деда? — говорит мать. — Деда?! Я знаю, кого ты хочешь проводить!

— Ну, поехали... — говорит Дима и уходит в комнату.

— Не смей кричать на мать! — кричит Дронов.

Падает стоячая вешалка.

Валентина и Дронов обхватывают груды плащей и зонтов и тупо смотрят друг на друга.

Я вышла.

А на улице солнечный день.

У нас в семье никогда не кричали.

Все четверо мы подходим к бульвару.

— Не зовите меня Геннадий -Васильевич... Зовите меня Гена, — говорит Геннадий Васильевич.

— Гена, а ты кто? — спрашивает Сережа.

— На пенсии я... Первый год.

— Не привык еще, — говорит Коля.

— Я инженер... Я всю жизнь работал, как лошадь...

— Геннадий Васильевич, успокойтесь, — говорю я.

— Я не волнуюсь, Маруся, я устал... Понимаете, устал...

— Меня зовут Люда.

— Извините. Я проглядел своих детей! — говорит Геннадий Васильевич.

— Я думал, что мое дело создать для семьи материальную базу, и тогда ничто не помешает их духовному развитию. А они забили квартиру барахлом, и вместо глаз у дочери — очки, а у зятя — пуговицы.

— Как это? — спрашивает -Коля Луноход.

— Люда, вы меня понимаете?

— Очень понимаю...

Чего ж тут не понять? Очки и пуговицы. Андрюша очков не носит, и глаза у него осмысленные, но когда он их сощуривает, то в глазах у него вопрос, не «интересно, зачем?» или там «интересно, почему?», а лишь «интересно, почему?». Но ведь я это и раньше понимала? Значит, пока меня лично не коснулось, я...

— У нас война!.. — говорит Геннадий Васильевич. — Люда, вы меня понимаете? Война!

— Ну ладно, хватит, — сказал Сережа. — Они кто?

— Химики.

— Вот именно, что химики, — сказал Коля.

— Вот Люда меня понимает, — возбужденно сказал Геннадий Васильевич.

— У меня все продумано... Они копили на машину, и я им помогал, отдавал чуть не всю зарплату... Наконец появилась машина... Первое, что они сделали,

— поехали по окрестностям, а меня не взяли... Места не хватило... Для меня места не хватило... Зато поехал замдиректора мебельного магазина с его дочерью. Одежда на ней фирменная, а вместо головы — протез. Люда, вы меня понимаете?

— Они заслуживают мести, — говорю я.



Я ухудшаюсь прямо на глазах, я теперь жажду крови.

— Диму сватают за этот протез? — спрашивает Сережа.

— Естественно!

— Все! — сказал Коля Луноход. — С этим все!

— Коля, молчи, — сказал Сережа и пояснил Гене: — Ему волноваться нельзя. Он помирать собрался.

— То есть? — спросил Гена.

— У каждого своя дурь, — сказал Сережа. — Ну старики, что делать будем?

— Люда, а вы кто? — спрашивает Геннадий Васильевич.

— Студентка, замуж собралась, — сказал Сережа. — За одного... А он себе торговую жену подбирает. Мы ей не велим о нем мечтать.

— А вы ей кто?

— Мы ей опекуны, — сказал Сережа.

— Он шутит, — сказал Коля. — Шутит он.

— Нет... — сказала я. — Все правда... Кроме опекунов, все правда.

— Вот это номер! — изумился Сережа. — Я про жениха от фонаря говорил...

— Не от фонаря, а по опыту жизни, — сказал Коля.

И тут Геннадий Васильевич, будто суммируя весь этот бедлам, весь этот хаос, говорит:

— Я хочу купить машину.

Мы все оборачиваемся к нему.

— Я хочу купить машину! — упрямо говорит он.

— Зачем, Гена? — после паузы спрашивает Сережа.

— Я хочу купить машину!.. — дрожа подбородком, говорит Гена. — Чтобы вас всех катать... Чтобы мы с вами ездили по окрестностям... Чтобы мое семейство открыло рты, когда мы въедем во двор веселые и загорелые!..

— Вот здорово! — говорю я.

— Они на мне крест поставили, а я куплю машину! — светлея лицом и как-то даже распрямляясь, сказал Гена. — Все продумано... Я узнавал... Открытка должна прийти через несколько дней... Моя очередь подходит... Осталось достать немного денег.

— Немного! — сказал Сережа. — Ого!

— Остальные есть. Трехпроцентный заем... От жены остались и мои... Семейство не знает... Я хотел им оставить в наследство, теперь куплю машину... Мы снова станем самостоятельными и станем дышать свежим воздухом.

— Гена, а ты водить умеешь? — спросил Сережа.

— Давно не водил... — неопределенно ответил Гена. — А из вас никто не умеет?

— Я умею, — твердо сказал Коля Луноход.

— У него права с двадцатого года, — сказал Сережа. — Он броневик «ре-но» водил... С двумя моторами... Вперед-назад.

...Желтый свет пустыни.

Верблюды промчались справа налево.

Машины мчатся прямо на нас...

Дронов вошел в темную комнату и отдернул штору.

— Дима, опять глаза портишь? — спросил он.

Дима перестал монтировать узкую любительскую киноплёнку, где на экране величиной с ладонь мчался поток машин.

— Опять ведро окурков, — сказал отец. — Опять всю ночь ерундой занимался... Хотя бы сам снимал, что ли... А то ведь у приятелей плёнку берешь.. Они тебе одни обрезки дают.

— У меня каникулы, — говорит Дима.

И начинается.

— Студенты в каникулы едут в стройотряды и, между прочим, зарабатывают деньги, — сказал Дронов.

— Меня не взяли, — сказал Дима.

— Ну ничего не хочет делать парень, ничего! Кто же тебя возьмет? Ты любой коллектив опозоришь.

— Опозорю, — сказал Дима.

— Не смей так со мной говорить...

— Ага.

— Что ага?

— Ты всегда говоришь, говоришь, говоришь... Всегда...

— Валя! — крикнул Дронов.

Вошла Валентина.

— Валя, поговори с ним! Я ему говорю, а он мне говорит...

— Я тоже ему всегда говорила, — перебивает мужа Валентина. — Дима, когда мы тебе говорим, то...

Дима начинает тихо смеяться.

— Дима! — крикнул Дронов. — Когда родители с тобой говорят...

— Я сейчас кого-нибудь укушу... — сказал Дима и залаял. — Гав! Гав!

В дверях показался Геннадий Васильевич.

— Вот и утро началось, — сказал он.

— Папа! — крикнула Валентина.

— Более-менее понятно, почему у нас Дима такой, — сказал Дронов.

— У меня сегодня гости, — сказал Геннадий Васильевич, утираясь полотенцем.

— А кто? — живо спросил Дима.

— Мои гости, — сказал Геннадий Васильевич. — Вы их знаете — Коля и Сережа.

— ...Валя... запри нашу комнату, — сказал Дроков.

И вышел.

— Папа... — сказала Валентина. — Ты нас позоришь.

— И я вас позорю, — сказал Дима.

Из коридора крикнул Дронов:

— Валя! Мы опаздываем!

Валентина оглядела отца и сына сверкающими очками и вышла.

— Ты тоже куда-нибудь пойдешь? — с надеждой спросил Геннадий Васильевич.

— Неа... — ответил Дима.

— Дима, нам надо поговорить!..

— Ничего, — сказал Дима. — Я к разговорам привык.

— Почему ты решил, что Люда тоже придет?

А у нас в это время все кипело и гудело.

Работа шла полным ходом.

Мы, трудолюбивые серые муравьи, копошимся на задворках мебельного магазина.

Грузчики разбивают огромные ящики, в которые запакованы шкафы, столы и прочее.

Сережа отрывает длинные планки, я отношу их к Коле Луноходу, который связывает их в длинные пачки по десять штук.

— А я прихожу на бульвар, — говорю я. — Смотрю — никого нет. Еле разузнала, где вы.

— Не лезь под руку...

Я тащу охапку планок, сваливаю их к ногам Коли.

— А вы для чего это? — спрашиваю.

— Человек один забор строит, — объясняет Коля. — Ему штакетник нужен. Мы ему эти планки загоним за шестьдесят рублей.

— А зачем?

— Гене на машину. Недостающую сумму. Ясно?

- А вам эти планки отдадут?
 - Еще приплатят за вывоз.
 - Будем ездить по окрестностям! — крикнул Сережа.
- Кипит работа. Никакие случайности не могут помешать нам.

Геннадий Васильевич вошел в комнату, из которой раздавался стон, и спросил Диму:

- Как же это ты?
- Все вы... все вы... — со стоном процедил Дима.
- Сейчас, сейчас, потерпи, — озабоченно сказал Геннадий Васильевич. — «Неотложку» я вызвал. Сейчас придет... Больно?

Дима застонал.

И тут раздается звонок в дверь.

— Неужели «неотложка?» Что-то быстро, — сказал Геннадий Васильевич и пошел открывать.

А это не «неотложка», это вваливаемся мы.

Мы все теснимся в дверях комнаты. Увидя нас, Дима пытается сесть, но со стоном валится на кровать.

- «Неотложку» вызывали? — спрашиваю я.
- Да вызывали, вызывали, — говорит Геннадий Васильевич. — Эх, не вовремя пришли.

И опять звонок в дверь. Я кинулась открывать. В прихожую вошел врач.

— Где больной?

Я проводила его в комнату.

На кровати сидел Дима, свесив голые ноги, и таращил глаза.

— Что случилось? — спросил врач.

И вытащил из портфеля никелированную банку.

— Девушка, поставьте прокипятить.

— Что-то выскользнуло, — недоуменно сказал Дима.

— Откуда выскользнуло? — спросил врач.

— Из ребер выскользнуло, — сказал Дима. — Как языком лизнуло. Не болит больше.

— Совсем?

— Совсем.

— Наша работа, — удовлетворенно сказал Сережа.

— Видимо, было защемление, — сказал врач. — Какую помощь вы ему оказали?

— Мы его в другую сторону разогнули, — сказал Коля Луноход.

Мчится грузовик.

Итак, свершилось — нас разогнули в другую сторону.

Мы с Димой стоим, держась за крышку кабины. Мы выскользнули.

Нас согнули и защемили ребрами, но мы выскользнули. Мы еще не знаем куда, но мы выскользнули. Это оказалось совсем не больно, будто языком лизнуло по ребрам в области сердца, и мы едем мстить.

Ветер полощет нашу одежду, волосы, омывает ноздри и легкие, и окрестности летят нам навстречу и проносятся мимо. В кузове, на связках штакетника, подпрыгивают Сережа и Гена, Коля в кабине руководит полетом.

— Они очумеют... — радостно говорит Дима, — когда узнают о второй машине.

— Не ругай родителей, — говорит Сережа. — Мал еще.

— Я их позорю... — радостно говорит Дима. — И дед их позорит...

— Загоним рейки, накопим сумму... — говорит Сережа.

— Незаконно продавать, — радостно говорю я.

— Незаконно дерево жечь, — говорит Сережа. — Были ящики — будет забор.

Ой, люди добрые!

Теперь самое важное то, что происходит без нас.

Я потом узнаю про это из разных источников — от милиционера, от Зинаиды, от соседки по квартире, где у нас с ней общий телефон, и от многих других.

Белые стены. Белые халаты. Темная ночь за окном. Телефон звонит. Дежурная сестра берет трубку.

— Институт Склифосовского слушает... Так... Когда? Сколько лет?.. Шестьдесят один?.. Фамилия? Лунев Геннадий Васильевич... Так. А второго как? Дима... Ждите.

Пауза. Дроновы дышат в телефон...

— Нет... — говорит дежурная. — Такие не поступали. Нет. Точно. Ну гражданин, если мы говорим нет, то...

Дронов положил трубку.

Потом в отделении милиции старшина снял трубку.

— Дежурный слушает... Когда ушли? Не волнуйтесь. Утром? Дед и внук? Как фамилия? Минуточку. Геннадий Васильевич и Дмитрий...

— Давай рассуждать спокойно, — сказал Дронов. — Это позор.

— Я не могу рассуждать спокойно, — сказала Валентина. — У меня пропали отец и сын.

— Ну почему пропали?

Валентина мечется по комнате.

— Ну позвони куда-нибудь, позвони! — с напором, говорит Валентина, и в голосе ее истерика — от нижнего до верхнего си-бемоль. — Сделай что-нибудь!

— Сядь, — сказал Дронов. — Для тебя любая девчонка черт-те кто... Это раз. Второе — почему ты все время оскорбляешь деда? Это глупо.

— Я?.. Ты сбежал от своих и живешь у нас — тебе легко говорить. Чем я его оскорбляю?.. Не взяла его с собой в поездку по Подмосквью? Так это когда было. Два года назад!.. О чем мы говорим? Где они? Что их связывает?

— Автомобиль, — сказал Дронов. — Твой отец решил купить машину.

— У нас есть... Не поняла... Что ты мелешь?

— У нас есть... У него нет, — сказал Дронов.

Некоторое время они молчат.

— А на какие шиши? — спросила Валентина.

— Ты сама знаешь.

— Нет... Мамино наследство он тронуть не посмеет, — сказала Валентина дрогнувшим голосом.

Дронов из пиджака, висящего на стуле, вытащил открытку:

— Вот... Извещение... Пришло вчера... Подошла его очередь на «Жигули»...

Прочти.

Ночь такая тихая, что все звуки, не слышные днем, звучат преувеличенно громко, так же, как шаги молодого толкового мужчины, так же, как разговор, который он будет вести, войдя в телефонную будку. Здравствуй, Андрюша мой, я тебя вижу так отчетливо, что могу дотронуться до тебя. Мысленно. Нет. И мысленно не хочу.

Я слышу, как долго идут длинные гудки, как поскрипывает дверца, как наконец в трубке откашлялись и сонный женский голос:

— Але...

— Извините, пожалуйста, это опять я... Люда не возвращалась?

— А кто ж это я?

— Это ее знакомый... Я вам недавно звонил...

— Жених, что ли?

Соседка у меня что надо.

— Ну да, да... Люда не возвращалась?

— Нет, Андрюша, не возвращалась.

— Еще минутку. Когда она вернется — попросите ее позвонить ко мне.

— Я спать буду.

— Напишите ей записку... Я очень прошу.

— Где сейчас карандаш искать... Сейчас... Где ж ты раньше был, жених?..

Она столько дней к телефону бегала.

— На машину очередь подошла... Занят был...

— На машину очередь подошла, а на Людку очередь не подошла. Забегался, жених.

— Написали?

В трубке короткие гудки.

Потом Андрюша размышляет, поднимает брови и снова звонит.

— Дежурный слушает.

— Это опять я... Скажите, нет сведений о студентке Люде Григорьевой?

— Вам нужно прийти в отделение... Наш адрес знаете?

— Нет... Я думаю, это ни к чему.

— Мы думаем иначе.

— Я завтра зайду после работы.

И вешает трубку

Тихая ночь. Скрипит дверца. Глухие ящики закрытых автоматных будок, освещенные фонарем.

Потом начал накрапывать дождь, и Андрюша застегнул пиджак на все пуговицы, потом, подумав, поднял воротник. Здоровье есть здоровье...

Потом дождь ударил всюду, и дрожали дальние отблески фонарей и подъездов, когда, перешагивая через лужи и чертыхаясь, шли к гаражу отец и мать Димы.

Дронов открыл гараж, они вошли, отряхиваясь, сели в машину, загудел мотор, вспыхнули фары, машина выползла из гаража. Дронов вылез запереть гараж, снова сел в машину.

— Прогрей мотор как следует, — сказала Валентина.

— Наплевать, — сказал Дронов. — Куда, к черту, мы едем? Зачем мы едем?

Дал газ, машина укатила во тьму.

А свежий ночной ветер с дождем сгибал траву на газонах, освещенных яркой лампочкой над подъездом, когда из подъезда вышли...

Слышно тяжелое фырканье разворачивающейся грузовой машины. Потом машина останавливается, и слышны голоса.

— Сереженька! — вскрикивает Настя и кидается под дождь. — Сереженька!

К ней навстречу движется группа возбужденных, весело переговаривающихся людей.

Это мы. Нам теперь все нипочем.

— Сереженька! Живой!

— А чего нам, султанам! — геройски шумит Сережа.

— Мы провели чудесный день! — откликается Геннадий Васильевич.

Но мы галдим. Мы мокренькие и веселенькие. На нас сухой нитки нет. На мне пиджак Димы. Дима в облипшей рубашке весело лязгает зубами.

— Мы провели чудесный день и собирались купить машину.

— Да вот груз у них, — отводит глаза шофер. — Разгрузить надо.

— Я же объясняю... — вмешивается Геннадий Васильевич. — Мы хотели купить машину...

— Настя, подарочек тебе привезли, — говорит Сережа.

— Что ж ты со мной делаешь? — Наконец Настя приступает к своим обязанностям. — Мы тут с ног сбились!

— Сейчас фары включу, — говорит водитель, лезет в кабину и ослепляет всех.

Я, Дима и Сережа бежим к машине. Грохот заднего борта, шум сдвигаемых досок, а потом слышны какие-то странные звуки. Ничего, сейчас все выяснится, все объяснится. Я втягиваю голову в плечи.

Мы выходим из темноты — я, Дима и Сережа.

— Принимай подарок, Настя, — бодро сказал Сережа и опасно отпрянул.

На свету стоит старая мокрая лошадь и смотрит на Настю.

— ...А купили ее... — в полной тишине dokonчил свою мысль Геннадий Васильевич. — Цена мизерная — пятнадцать рублей... Сущие пустяки. Мы поэтому и задержались — мы купчую оформляли. Она списанная... Ее хотели на бойню отправить.

Все молчат.

Настя, открыв рот, смотрит на мужа, потом переводит взгляд на лошадь.

— Лошадь... — говорит она. — Живая...

Лошадь мигнула.

И Настя заголосила:

— Ой... ой... Ой-ой!.. Люди добрые!..

— Да ладно тебе, — сказал Сережа. — Кормить есть где. Рядом лесной массив...

— А зимой?! Зимой?! — голосила Настя. — Зимой чем?! Люди добрые!..

Расскажите нам про броневик «рено»

У меня был разговор с Димой, с Дмитрием Геннадиевичем. Я его спрашиваю:

— Вот тыходишь в троллейбус и видишь, в другом конце стоит девушка, которая тебе нравится, и между вами толпа — что ты будешь делать?..

— А что я должен делать?.. — спросил Дима.

— Врешь... — говорю. — Будешь проталкиваться...

— Не буду, — говорит Дима. — Захочет — заметит...

А я ему:

— А если ей нужен партнер в жизни, который проталкивается?..

— Тогда она мне не нужна, — подумав, ответил Дима.

...Раннее летнее утро — следующее после бурной ночи. Небо светлое и розовое.

Дома-новостройки спят.

К гаражу Дроновых подъезжает машина. Затихает мотор.

Дронов вылезает и идет открывать гараж.

Перед дверью гаража он внезапно останавливается, потом наклоняется к замку и что-то долго разглядывает. Потом оборачивается к жене:

— Иди сюда.

Она сначала высовывается из окна, потом вылезает и идет к нему.

— Ну что?

— Погляди, — говорит он.

Она протирает сонные глаза и смотрит.

На двери большой висячий замок, которого не было, когда они уезжали, а петли перехвачены бечевкой, узел которой залеплен пластилиновой печатью с гербом.

— Опечатано... боже мой... — наконец говорит она.

— У тебя есть мелочь? — спрашивает Дронов.

Она роется в сумочке.

— Дай двадцать копеек... нет... пятак, — говорит он.

Она протягивает монету. Он внимательно ее разглядывает.

— Ну, точно... — говорит он и показывает на печать.

Она вглядывается, потом ахает.

— Как ты догадался?

— Буквы на печати идут в обратную сторону. Пятаком запечатали.

— Что все это значит?

— А замок узнаешь? — спрашивает он.

— Нет!.. Да... Это наш замок.

— Дедов замок, — уточняет он. — Он опечатал наш гараж.

— Славик... это его гараж, — уточняет она. — Ты забыл?

— Спать... спать... — говорит он. — Спать...

И начал запира́ть машину.

Из-за угла вышел дворник с метлой. Поглядел на них и стал мести асфальт — вжик... вжик...

— Что-то надо с этим делать, — говорит Валентина мужу. — Так дальше нельзя.

— Как идиоты метались по всей Москве, — говорит он. — Надо было или ждать дома или в отделении, Они давно все спят.

Они уходят. Дворник смотрят им вслед. Потом идет к ближайшему подъезду.

Он отворяет дверь. Там стоят, обнявшись, Дима и Люда. Они целуются.

— Э-эй... — говорит дворник. — Они ушли... Дима, эй.

Они отрываются друг от друга и непонимающе смотрят на дворника.

— А? — спрашивает Дима.

— Ушли твои родители, — говорит дворник. — Ушли спать.

Дима и Люда выбирают на рассветный двор.

Дима обнимает ее за плечи, и они идут к гаражу.

Дима осторожно снимает пластилиновую печать и висячий замок, потом отпирает ключом дверь и входит внутрь.

Люда распахивает дверь, и Дима из темноты гаража выводит лошадь.

— Просохла... беденькая... — говорит Люда. — Есть хочет...

— Подержи ее, — говорит Дима.

Люда берет повод и гладит лошадиную морду. Дима запирает гараж и навешивает замок и печать.

— Поведем ее кормить, — говорит Дима.

— Куда?

— В лесной массив. А ты есть хочешь?

— Нет... А ты?

— И я нет...

Они берутся за повод и все втроем идут туда, где солнце встает из-за подмосковного леса.

...Солнце освещает кухню Дроновых. Завтрак стынет на столе.

Валентина и Дронов смотрят на Геннадия Васильевича, который чиркает спичкой, а спичка не загорается.

— Перестань курить, — говорит Валентина.

— Перейдем к делу, — говорит Дронов.

— Пожалуйста, — отвечает Геннадий Васильевич.

— Где будет жить лошадь?

— У меня в гараже.

— А машина где?

— Не знаю, не знаю... — говорит Геннадий Васильевич. — У дома стоит... Не знаю... Гараж мой... У меня документы. Хочу — подарю, хочу — продам, хочу — с маслом съем... Мое дело...

— Он с ума сошел! — вскрикивает Валентина. — Машина стоит тысячи, а лошадь пятнадцать рублей.

— Лошадь пятнадцать рублей?! — с гневом откликается Геннадий Васильевич. — Пятнадцать рублей стоит ее шкура на бойне!.. А лошади цены нет! Ах, вы!.. Она всю жизнь воду возила, а вы ее на рубли?

— Успокойтесь... — говорит Дронов. — Мы ничего не хотели сказать.

— Что хотели, то и сказали... Ладно, с вами все ясно... Хватит... Я вчера провел счастливый день... Позовите Диму скорей... — сказал Геннадий Васильевич, тяжело задышал и взялся рукой за сердце.

Лесная чаща. Дальние голоса.

— Для лошади много надо — еда, запчастей.

— Какие еще запчасти?

— Ясли, повода... Этот, как его...

— Хомут? Хомут нужно... Да-а, хорошая вещь, и недорого...

— Лошадь не вещь, — говорит девочка. — Она живая... Именительный падеж — кто? Родительный — кого?.. Она живая.

— Еще нужна стоянка и это... место для выгула.

— Может, ее в живой уголок? — спрашивает девочка.

— Правильно, хотя великовато... А машины эти что?.. Аккумуляторы, акселераторы, карбюраторы — одна вонь.

— А от лошади не вонь?.. А от лошади не вонь?

— От лошади запах!

Разговоры, разговоры...

...Длинные тени домов. Коля и Сережа входят в тень и идут к подъезду, у которого стоит машина «Скорой помощи» и двое зевак.

— Гляди... — говорит Сережа.

— Вижу, — отвечает Коля.

— Ну-ка, Луноход, давай живей,

— Я живо... Я живо...

Наконец они входят в подъезд, как раз когда по лестнице санитары несут на носилках Геннадия Васильевича.

Впереди носилок идет врач, позади — Валентина.

— Луноход, ты лошадь купил? — спрашивает зевака.

— Мы в складчину, — отвечает Коля.

Геннадий Васильевич открыл глаза.

— Коля, Сережа... — радостно говорит он. — Меня увозят...

— Держись, Гена, держись, — говорит Коля Луноход.

— Ничего, — радостно говорит Геннадий Васильевич. — Они у меня еще попрыгают... Они еще не знают, что их ждет.

— Папа... опомнись... — жалобно говорит Валентина.

— Коля, Сережа... если я помру — вы мои наследники, — сказал Геннадий Васильевич. — И Дима... Я на вас завещание напишу... Вы мои наследники.

Геннадия Васильевича задвигают в «Скорую помощь».

— Луноход, а рысак твой где? — спрашивает второй зевака.

— Пасется, — ответил Коля.

...Верблюды промчались справа налево.

...Олени промчались слева направо.

Лавина машин мчится прямо на вас.

Стоп. Красный свет.

Коля Луноход один шествует по «зебре».

— Вот он... — говорит Дронов. — Знаменитый Коля Луноход.

Они с Валентиной сидят в машине.

— Из-за него все... — говорит Валентина. — Аферист.

— Откладывать больше нельзя — сегодня за них возьмемся.

Машины срываются с места.

Синий дым.

...Пасмурное небо смотрит в окна больничной палаты. Дальний гул машин.

У койки Геннадия Васильевича сидят Дронов и Валентина. Оранжевые апельсины сияют на тумбочке.

— Папа... что с тобой? Что тебя заботит?.. Скажи — мы все сделаем... — говорит Валентина.

— Сено... — отвечает Геннадий Васильевич.

— Сено?

— Для лошади, — отвечает Геннадий Васильевич.

Дроновы быстро переглядываются.

— Тут по телевизору выступал женский хор, — говорит Геннадий Васильевич. — Солистка пела, как старый пришел к ней в гости, и жил у нее три недели, и заболел... Она приняла меры, отвела его на море... и он захлебнулся. Шуточная песня... очень веселая... Все подпевали...

— Папа... машина ржавеет... Ты вспомни, сколько сил на нее убили.

— Семьдесят лошадиных сил, девяносто лошадиных сил, — ответил Геннадий Васильевич. — А мне нужна всего одна.

— Что ты с нами сделал? — сказала Валентина. — Ты подумал? Эта история с лошадью... Над нами на работе смеются.

— Уже смеются? — с интересом спросил Геннадий Васильевич.

— Старую клячу пожалел, а семью не пожалел...

— А кто пожалеет старую клячу? — спросил Геннадий Васильевич.

Помолчали.

— Я и вас теперь жалею... Но поздно спохватился, — сказал Геннадий Васильевич. — И не в жалости дело... Жалость — это сигнал, что надо бороться за живое против мертвечины...

— Все учишь, учишь...

— Это понятно, — сказал Дронов. — Старые люди завидуют молодым... Мы делаем то, чего им самим хотелось... когда-то.

— За наследство испугались, — сказал Геннадий Васильевич.

— Ну-у, это еще можно оспаривать, — неопределенно сказал Дронов. — Эти старички, знаете, Коля Луноход, Сережа... Это несерьезно.

— Еще одно слово... — сказал Геннадий Васильевич.

Все молчат.

— У Коли Лунохода огромная биография, — сказал Геннадий Васильевич. — Он участник всех войн истроек нашего века... у него куча родни по всей стране... Теперь живет с внуком-геологом — тот летом в поле, а осенью возвращается...

— Поправляйтесь... — сказал Дронов. — А этот Сережа?
— Плотник... В войну был сапером... строил переправы... по которым шли мои танки, — сказал Геннадий Васильевич. — Вопросы есть? Двое детей погибли в бомбежку. Жене шестьдесят один год... как и мне...
— А Люда? — спросила Валентина. — Кем она им приходится?
— Другом... Как и мне... Боитесь, что женюсь?
— Боимся, что Дима женится, — сказал Дронов.
— Она за него не пойдет, — сказал Геннадий Васильевич. — Вряд ли мы ей понравимся.
— А мы тебе... не друзья? — спросила Валентина.
— Ой... — сморщился Геннадий Васильевич. — Про это не надо...
— Ладно... Не будем... Поправляйся.
— У меня просьба, — сказал Геннадий Васильевич.
— Какая?
— Зайдите к Сереже.
— Зачем?
— Непременно... — быстро сказал Дронов. — Дайте адрес.
— Вот адрес... фамилии не знаю... Спросите Сережу.
— Что ему передать?
— Спросите насчет сена на зиму. Доставать надо сейчас.
— Пойдем, Славик, — сказала Валентина, поднимаясь.
— До свидания... — сказал Дронов.
— До свидания.
Они уходят. Тишина.

...Пасмурный день. Сыро. Машина Дроновых подъезжает к дому Сережи.
— По-моему, корпус этот, — говорит Дронов, оглядывая этажи. — Да, этот... Первый этаж... Пошли.
— Иди сам... — сказала Валентина.
Муж смотрит на нее и скрывается в подъезде. Валентина зябко передергивает плечами и садится в машину.
Выходит хмурый Дронов.
— Нет никого... — говорит он и оглядывается.
По асфальтированной дорожке идет женщина под японским зонтиком и несет капусту в пластиковой авоське с изображением игривой жар-птицы и надписью «Березка».
— Вы такого Сережу не знаете? — спрашивает Дронов.
— Сереж много.
— Старого...
— А-а... Настин муж... Они с Димой уехали.
— С Димой? С каким Димой? — высовывается Валентина.
— Да парень такой, друг его. Студент.
— А куда уехали?
— Тут Настя гуляет, вы спросите у нее.
— А далеко это?
— Да нет... километра не будет, — говорит Зинаида. — Проводить?
— Давайте в машину, — говорит Дронов и отворяет дверцу.

— С удовольствием.

Женщина закрывает зонтик.

...Мокрые стволы деревьев.

На поляне пасется лошадь. Она теперь гладкая и красивая. В гриве и хвосте легкомысленные ленты, явно Настина работа.

Настя сидит на пне, чистит грибы и перекладывает их из корзины в большой таз.

Подъехала машина. Вылезли Дронов и Зинаида.

— Настя, к тебе, — говорит Зинаида.

— Здравствуйте. Ваш муж скоро вернется? — спрашивает Дронов.

— Должно быть, скоро.

— Мы родители Димы... Куда ваш муж с ним поехал?

— А за сеном...

— Так... — сказал Дронов.

Настя чистит грибы.

— Дима с мужем грибов насобирали, — говорит она. — Толковый парнишка...

— Ничего... — сказала Валентина. — Через неделю занятия в институте... кончится эта глупость.

— А вот муж идет, — сказала Настя.

Из кустов вышел усталый Сережа и оглядел всех.

— Привет, — сказал он.

— Здравствуйте...

Сережа сел боком на соседний пенек, снял кепку и вытер лоб.

— Насчет сена сговорились, — сообщил он, отдуваясь. — Завтра Дима привезет.

— А где Дима? — спросила Валентина.

— Где ж ему быть? — ответил Сережа. — С Маруськой на бульваре.

— Маруська — это Люда? — спросила Валентина.

Родители исподлобья поглядели друг на друга.

— Что она за человек? — спросила Валентина.

— Жена будет что надо.

— Скажите, зачем вы привязались к нашей семье, — еле сдерживаясь, спросила Валентина. — Сначала сбили нашего отца с толку, потом сына... Наследство хотите получить?!

Машина не заводилась.

Потом Дронов высунулся из машины.

— Была бы лошадь особенная, — сказал он. — Рекордистка... А то всю жизнь воду возила.

— Дело не хуже другого, — сказал Сережа. — Она возила, а ты пил.

— Я не пил, — сказал Дронов.

— Ну, другие пили... — сказал Сережа. — Которые тебе водопровод строили.

Машина завелась и работала глухо.

— А вам не стыдно чужим гарантом пользоваться? — спросил Дронов.

— А вам не стыдно живую лошадь на морозе держать?

— А зачем покупали?
— Зачем-зачем! — гневно передразнила Настя и крикнула: — Кормить!
Дронов обалдело посмотрел на Настю. Валентина смеялась, закинув голову.

Потом машина укатила.

...Бульвар. Сырые скамейки.
Дима сидит выпрямившись. Люда положила голову ему на плечо. Рядом, откинувшись, дремлет Коля Луноход. Шляпа съехала ему на глаза
Тишина. Осень.

Слышно, как где-то подъехала машина. Остановилась.

— Родители, — сказал Дима.

— Откуда ты знаешь?

— По звуку мотора.

...Родители приближаются.

Дима и Люда не меняют позы. Старик спит.

Родители подходят к скамье и стоят молча.

— Дима... — говорит мать.

Дима молчит.

— Это кто спит? — спрашивает Дронов. — Коля Луноход?

— Его зовут Николай Алексеевич, — отвечает Люда.

— Разве я спрашиваю именно вас? — вежливо говорит Дронов.

Люда не отвечает.

— Дима, домой, — говорит Дронов.

— Не пойду.

— Идем, Славик, идем, — говорит Валентина и тащит мужа за рукав.

Родители уходят. Потом Дронов останавливается и смотрит в землю.

— Нет... — говорит он. — Так все же нельзя...

— А как?..

— Вернемся... — говорит он.

— Ты думаешь?

— Пойдем... посидим с ними...

Они возвращаются обратно. Песок слегка хлопает на дорожке под их ногами.

Дима смотрит упрямо. Люда — внимательно.

Родители садятся на противоположную скамью.

Люда трогает за рукав Колю Лунохода. Тот открывает глаза.

— А?

Люда с вызовом смотрит на родителей.

— Чего тебе? — Коля протирает глаза.

— Николай Алексеевич... Расскажите нам про графа Толстого и броневик «рено»... — говорит она. — С самого начала.

Тот кивает и поднимает глаза к дождливому небу.

Цель

• Рассказ «Цель» опубликован в еженедельнике «Неделя» № 13 (25-31 марта) 1985 года.

Вот и одна тысяча девятьсот сорок пятый наступил.

Вот и опять я возвращаюсь домой после огромной войны. Четверть века прошло с того первого раза, с Гражданской, и теперь мне от роду — полвека, и как мне теперь быть?

Был в Кенигсберге, видел море, философа Иммануила Канта, поэта Фридриха Шиллера, мылся в частном доме в тазу, и воду мне лили из фаянсового кувшина.

Левая нога из крупнокалиберного прошита, из правого бока кусок выдран, но поверхностно, в спине осколок катается.

Человеческое бедное мясо не в счет, была бы кость цела.

А душа? Что душа? Но то она и душа, чтобы хранить раны невидимые, и свои и чужие...

Одна тысяча девятьсот сорок пятый огромный год.

И вот я германскую весну в госпитале встречаю. В чужедальней стороне. А она за окном. И любопытно мне и муторно.

Война кончается, и опять я, живой, отлеживаюсь в госпитале, и повязки отстригают, и от ран отторгают, и снова накладывают бинты, и еду подносят, будто я с работы пришел.

Мне повезло в войне, я постепенно в нее входил.

Если сейчас от темной ночи, от темной и тайной боли или от случайной заразы не помру, то похоже, что я и в этой войне выжил. И даже знаю об этом.

А за окном весна и немецкие люди. И они на нас смотрят беглым взглядом поражения, а мы на них — долгим взглядом вопроса! Как же так? Война дальше прокатилась, вы по улицам осторожно идете, мы на вас вопросительно смотрим. Вы живы и мы живы. И что же это было такое, что уже кончается, чему и слов нет?

Мне полвека, и тому, за окном, — полвека, и он несет кастрюлю.

У него ноги нет, может, еще с той войны, и потому жив, а у меня еще вопрос решается — то ли будет нога, то ли тоже на протез встану.

Тот останавливается — голова в плечи, из кастрюли выплеснулось, и ждет. Так я молчим. Нет еще у нас слов разговаривать. Я его язык слушать не могу, и буквы его на дорожных указателях для меня как колючая проволока...

Что-то в нем начинает дрожать, в крышка на кастрюле зудит. Он поднимает на меня сначала брови, потом глаза, и что-то во мне начинает дрожать и зудеть. И я вижу, что он из своего тела на меня смотрит, как из покаленной собачьей булки, и я смотрю на него из своего тела, как из покаленной собачьей будки.

— Ладно, — говорю. — Что скажешь!. Эх.. Вифиль тебе лет? Таг тебе сколько?

— Фюнф... — он прокашлялся, — фюнфциг.

— И мне фюнфциг... — показываю на себя. — Полвека.

Он поставил кастрюлю на землю, плечи поднял, развел руками и мотнул головой.

— Эх... — говорю и махнул рукой. — Иди

Он поднял кастрюлю и ушел.

— Абедать!.. А-абедать!.. Бааль-ные! А-абедать! — кричит сестричка. — Эй! Славяне!

Мне повезло. Я в эту войну входил постепенно, как в реку, только соленая та река и красная и быстро густеет на холодке.

Я-то на войну в сорок втором пошел, почти через год, как началось: сначала я Москве к бомбежкам привыкал — было время оглядеться. Потом у партизан привыкал, опять же это мне знакомо, вроде Гражданской войны А когда уж фронта достиг, я уж почти и притерпелся И выходит, что я постепенно к войне привыкал. К смерти не привыкнешь, но все же не то, что из квартиры в огонь, как Сережа и Валя, как Витька приемыш.

И далее я отворачиваюсь от соседа по койке и начинаю вспоминать свое.

...В том году я догадался, что если б человек знал, что все, что он видит, — он видит последний раз в жизни, то жизнь бы его была счастливая.

Родился человек и знает, что померет. Ведь знает же, сукин сын, об этом всю жизнь Не знает только — когда?

Время идет, дни идут, секунды тикают, и все, что человек видит, — он видит в последний раз.

Если бы человек это помнил, он бы на белый свет насмотреться не мог.

Я решил найти Витьку. Завтра первое сентября, как бы школу не проспал. Перейдя шоссе Энтузиастов, бывшую Владимирку, я углубился в лес и добрел до Оленьего пруда.

...Сон ли это мне снится, дневной сон прозрения, или костер тревоги самое жизни?

Кровь быстро густеет на холодке...

Я лежал в траве и слышал, как Витька со своей барышней разговаривали у самой воды на незапятнанной полоске суши, отысканной ими в стороне от всех. Двое любимых — что они говорили, что они говорили?!

— Гений и злодейство несовместны, знаешь почему? — спросил Витька.

— Почему?

— Гений — это не сверхчеловек, гений — это сверхчеловечность, — сказал он.

Она уставилась на него.

— Ишь ты. — сказала она. — Сверхчеловечность... Ты поэтому со всеми девчонками такой добренький?

— Знаешь, почему мы ссоримся с тобой и никак не сговоримся? — спросил Витька — Потому что мы мужчина и женщина.

— Открыл, — сказала она.

— Может, и открыл, — ответил он.

— Много на себя берешь, — сказала она. — Мы никто.

— Мы никто и все, — ответил Витька. — Но у мужчины и женщины талант разный.

Барышня приподнялась на локте и чуть отодвинулась.

— Мужской талант направлен изнутри наружу, — сказал он.

Она язвительно усмехнулась. Глаза у нее светлые и чуть выпуклые. Смеется, вытаращив глаза, а уголки губ презрительные — ей все идет.

— Ты пойми, — сказал Витька. — Ты пойми... Мужчина пробует перестроить жизнь, как картину по эскизу... Понимаешь?

— Ну?

— Но жизнь не поддается. Потому что во время стройки сама жизнь меняется и растет... не перебивай меня... Тогда мужчина сочиняет теорию, доктрину и хочет подмять под нее жизнь силком часто как раз тогда, когда доктрина себя исчерпала, и опять не выходит. Мужчина опять воображает, экстраполирует, интерполирует...

«Ого! — подумал я — Ого!»

— Ого, — удивилась она. — Ты и слова знаешь?

Но не засмеялась, а только пренебрежительно выпучилась.

— И все это у мужчины относится к внешнему миру, — сказал он. — К среде обитания его и женщины.

И тут я подумал, что если Витька скажет, будто женщина, в отличие от мужчины, занята перестройкой своего внутреннего мира, то он сподхалимничает и соврет. Потому что женщина-то как раз свой внутренний мир немало перестраивает, он ей и так годится, и так хорош, какой у нее есть. Некоторые религии даже считают, что у женщины и души-то нет, а есть пар.

— Что же делает женщина? — спросил Витька. — Что же она переделывает?

— Да.. — сказала барышня. — Что же переделывает женщина?

— Она переделывает мужчину, — сказал он.

Это уже серьезно, мне показалось, и я боялся чтобы меня не заметили.

— И мы ссоримся знаешь почему? — спросил он.

— Почему?

— Потому что я не поддаюсь.

Она воздействует на мужчину. А переделка мира — это уже последствия.

Она встала с песка и через голову скинула платье.

— Не поддаюсь?.. — спросила она. — А ты-то кто? Бог?

— Я?

— Да.

— А что такое — я? — спросил он. Она стояла под солнышком во весь рост в напрягшемся под ее телом купальнике. Ей было лет семнадцать. Через год она родит мне внука. Витька глядел не нее, не мигая бутылочными глазами...

— Бог — это свобода, — сказал он. — У бога не может быть жены. Это смешно.. Над Юпитером стали смеяться из за его супруги... Что это за бог, который шалит по секрету?

— Да уж, — сказала она. — А не шалить он не может?

— Не знаю. — сказал Витька, — Я попытаюсь.

— С какой-нибудь другой душой. — сказала она.

И, наклонившись вперед, вошла в пруд, тяжело расталкивая воду коленями. Потом нырнула и вынырнула без брызг.

— Я пошутил! — крикнул Витька.

— Да мне-то что?.. Не шути, — крикнула она, исчезая в расплавленной полднем воде.

До вечера Витька лежал и смотрел в небо, и я лежал и смотрел в небо. И мы поврозь смотрели на облака, в которых видели, что хотели.

Потом он встал и в темноте пошел от лесного пруда по шоссе Энтузиастов в Москву, и я за ним — метрах в пятидесяти и по другой стороне.

Городская ночь у приемного сыночка моего.

А под мостом кипели тощие электрички, но их не было видно и даже было не слышно из-за гула в ушах.

Первый час ночи, наступило уже первое сентября. Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно. Через несколько часов этого проклятого сентября в Европе началась вторая мировая война.

Тысяча девятьсот тридцать девятый год.

— ...Ты спи, — говорит сосед по койке, — сон оказывает чудодейственное влияние.

— Это верно, — отвечаю.

...Тут финская кампания закончилась.

Вернулся сын мой Серега, ледяным ветром помороженный, снайпером-кукушкой простреленный, миной контуженный, и начал пить.

Попил, попил — перестал. Снова начал на тренировки ходить на стадион «Сталинец», но жить в семье не хочет. Клавдия, стерва, его донимает — и такой ты и сякой, и что тебе дома не сидится, дело мужа семью снабжать продуктами питания и три раза в неделю жену любить или даже чаще.

А он смотрит на нее, кобылу сытую, сына держит за белую макушку и говорит:

— Тоска мне от тебя, Клавдия. Хоть бы в артистки пошла, что ли?

А она сыну:

— Гена! Гена! Видишь, как твой папа с твоей мамой обращается?! Вернулся — ни чинов, ни должности... Как был серый токарь, так токарь и есть... и остался ни при чем... Чему у тебя сын научится?.. Как пальцем не шевелить, чтобы в люди выйти?.. И разговор у тебя отсталый — учти... Сейчас не то что папанька-маманька, сейчас и отец с матерью не в моде, сейчас в моде папа и мама. Учти — сейчас и пыс-пыс не говорят, а пи-пи...

— Ну, пи-пи, — говорит Серега. — так пи-пи... А скажи, Клавдия, знаешь, кто такой Окба?

— Не начинай, не начинай... Опять хулиганничаешь?

— Окба, Клавдия, был арабский полководец. Завоевал всю Африку, влез с конем в Атлантический океан, саблю вон и говорит! «Господи! Ты сам видишь — дальше пути нет! Я сделал все что мог».

— Если ты, зараза, еще раз схулиганничаешь... — говорит Клавдия. — Учти... Начитался, зотовское отродье, гулеван... Хоть бы пил, что ли...

— Нет, — говорит Серега, — с этим все.

А росла этажом выше девочка-соседка. Шестнадцати лет. Звать Валентина — озорная, хорошенькая, прямо клоун какой-то. Отца нет, мать в типографии работает, в «Вечерней Москве».

И наладилась эта Валентина Сереге на этаже попадаться. Как он к нам идет, так она сверху спускается, якобы за хлебом.

Ну, то се, стала в дом к нам заглядывать.

— Тетя Таня, — скажет жене моей, — я в булочную. Если жаворонки с изюмом будут или другая сдоба, вам взять?

— Возьми.

— А если сушки?

— Можно сушки.

— А если с маком?

— И с маком хорошо.

Так и прижилась.

Однажды пришел Серега с ночной и заснул на диване, а эта Валентина тут как тут. Таня посуду моет, а Валентина эта тряпкой мебель наяривает и все мимо дивана — шась-шась. Тут звонок, Клавдия пришла и с порога блажит:

— У вас?

— А где же еще?

— Напился, стервец?

— Кто?

— Серега!

— Он не стервец, — говорит Валентина и тряпку к груди прижимает.

— А это кто такая? — спрашивает Клавдия.

— Соседка, — говорит Валентина.

— Соседка? Ну и ступай по соседству.

— Клавдия, уймись, — говорит наш дед. — Уймись.

— Дедушка, я вас не затрагиваю.

— А ты попробуй затронь, — говорю я.

— Не стервец? — говорит Клавдия. — А кто же он?

— Герой, — отвечает Валентина.

— Если эта еще раз меня оскорбит... — говорит Клавдия.

— А что будет? — спрашиваю.

— Нет... видно, правды здесь на добьешься, — говорит Клавдия. — Надо в профком идти... или выше.

Клавдия ушла. Посуда перестала звенеть.

А Валентина на Серегу из угла во все глаза смотрит — сидит с тряпкой в обнимку.

— А это что за чучело? — открывает глаза Серега.

— Сами вы чучело... — отвечает Валентина.

— Ну ладно, — говорит Серега, — и правда, пора домой.

Ушел.

А как только ушел — Валентина из угла выскочила.

Она закричала:

— Не любит она его! Понятно вам! Она ему врагиня!

— Я вот ты сейчас ремнем, — сказал дед. — А ну, поди сюда.

— Не имеете права, — отскочила она за стол. — Я вам посторонняя. — Щеки горят, волосы в стороны, на подбородке слеза повисла.

Потом новогодние праздники подошли. Дед говорит;

— Надо всех собирать. Пусть все встретятся и запомнят, а то ведь 41-й наступает.

— Дед, а дед... — говорю, — Не смущай ты нас, не каркай.

— Нет, Петька, ничего уже не остановишь. Война назрела, как чирей на шее. Ее можно было бы на тормозах спустить, да Витька у себя чирей на шее бритвой надрезал раньше времени. Одеколоном, правда, прижег, а все же раньше времени. Плохая примета. И по Нострадамусу на 43-й год конец света выходит и наступит разделение овнов от козлиц.

— Что же ты с нами делаешь, дед, с нечеловеческими своими приметами? — говорю. — Как после этого Новый год — веселый праздник встречать?

— Я свое слово сказал, — говорит Дед. — Но одному тебе. А ты — никому. Собирай всю семью, и близких и дальних, и друзей ихних — кто решится, и их возлюбленных. Повидаемся.

Не забуду я того Нового года, до 12.00 сорокового, а через минуту — сорок первого.

Собрались все, кто мог. В одной комнате — старшие, в другой — младшие. А в коридоре встречались, кому кто нужен. Отдельно.

— Прости меня, отец, — сказал Витька, — что я плохую примету принес. Но очень шея болела. Я и надрезал. Может, когда и лекарство придумают.

— Да кто ты такой, — говорю, — шенок? Чтобы из-за твоего чирея война началась? У нас с германцами мир.

— Пойдем, отец, дай Валентине с Серегой поговорить.

— Я ей поговорю.

— Нельзя ей мешать, отец, она сгорает от любви.

Мы с Витькой были в коридоре, а тут гляжу — в кухне стоим, некрашенные половицы к закрытой двери текут, на окне цветы ледяные, а в коридоре за дверью тишина.

Потом, слышу, Серега говорит:

— Не надо, дурашка... Ты еще пацанка, подснежник весенний, а я уже битый-ломаный.

— Нет... Нет... — говорит Валька, — Нет... Так не может быть... Ты просто смерти не боишься, а жизни ты боишься...

— Ну погляди, — говорит Серега, — видишь? Всего меня слезами измазала... У меня сын и жена...

— Перворазрядник ты... — говорит она. — Всегда перворазрядник... вот ты кто... Пойми, нет у тебя жены... Я буду у тебя жена... Через год... Мне Витька ваш сказал.

— Господи, а об этом откуда он знает?

— Такая у нас судьба... Я потерплю, и ты потерпи.

Ну, вышли мы с Витькой из кухни, в коридоре Серега на сундуке сидит и на косынку смотрит на розовую.

Часы начали бить двенадцать раз. Пора стаканами греметь.

— Ушла? — спрашиваю.

Он кивнул.

А в тысяча девятьсот сорок первом началась война.

Этот год начался тихо для тех, кто не знал. Но в нашей семье знал дед, и это всех давило. И с марта месяца, как завывали коты, кто постарше, стали незаметно готовиться, будто прощаться.

Сергея на тренировках носы сворачивал и сам приходил битый. И на лыжах стал ходить классно, опять первый разряд получил.



Рисунок Валерия Чумакова.

Валька-новогодняя совсем расцвела, ха-арошенькая такая стала, плясунья.

В типографии работала, «Вечернюю Москву» печатала вместе с матерью. Как перерыв — влезет на бумажный рулон босиком и из кинофильма «Петер» пляшет — тири-тири-тири вундербар... тири-тири-тири вундербар — умора.

Прямо клоун Виталий Лазаренко. Или по-оперному закричит — са-а ала-вей мой, са-а-алавей. А то говорит мне: «Дядя Петя, а может, я в натурщицы пойду? Голую меня рисовать будут, представляешь?» В самую пору девка вошла, а безнадежно по Сереге сохнет. У него тоже душа, видно, не на месте. Не иначе — перед ней совестно. А то бы сошлись, ясное дело.

А в июне месяце пришла однажды в выходной и стала с бабушкой нашей сундук перетряхивать от нафталина. А потом надела бабушкину фату, выходит к нам и спрашивает у Сереги:

— Правда, я в этой фате какая-то беззащитная?

Серега глядит на нее во все глаза и молвит так задумчиво:

— Может, мне на край света уехать?

А Валька:

— Вы подумайте — нас же больше всех людей на земле, а почему женщин не спрашивают? Может, нам не нравится, когда от нас уезжают?

А тут входит Клавдия, оглядывает всех своими умышленными глазами и говорит, как радуется, будто возвысилась над нами:

— Обалдели вы все или нет, грамотные? Войну объявили, только что...

На следующий день прибежала к нам Валька с «Вечерней Москвой» — еще краска не просохла: «Можно Сереже позвонить?»

— Звони...

— Это дежурный?.. Позовите, пожалуйста, Зотова Сергея... Кто спрашивает?.. Валя... Невеста...

— Правильно, Валька,— сказал дед. — А вы все — молчать!

А мы молчим. Газету разглядываем и читаем, и слушаем, как их души прощаются.

— Сережа, ты?.. Здравствуй, Сережа... Это я, Валя... Я не молчу... Хочешь, я тебе прочту, что у нас сегодня в «Вечерке». Она еще наполовину мирная газета: еще в продажу не поступила... Почему последняя «Вечерка»?.. Почему ты сказал последняя?! Сережа, не молчи!.. Сережа, а ты не можешь заехать проститься?.. Может быть, удастся... Сережа, я буду ждать у ворот... Сережа...

Вот она, «Вечерка» 23 июня 1941 года. Я из нее вырезки вклеил.

«Мосгосэсграда. Эстрадный театр Эрмитаж. На днях — государственный джаз оркестр РСФСР под управлением и при участии Леонида Утесова. Премьера — «Шутя и играя». Постановка Л. Утесова и заслуженного деятеля искусств Н. Акимова. Открыта продажа билетов».

«...Митинг на станкозаводе им. Орджоникидзе, на заводе «Калибр», на фабрике «Дукат», на заводе «Компрессор», также голос советской интеллигенции: Чаплыгин, Вернадский, Хлопин, Манандян, Образцов, Маслов, Ротштейн, Коштоянц — академики».

— Сережа, я тебя люблю... Сережа, не молчи... Что читать? Сводку? Сейчас, Сереженька...

«Сводка Главного командования Красной Армии за 22 июня 41 года.

С рассветом 22 июня 41 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Со второй половины дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в

Гродненском и Криспинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки: Гальвары, Стоянов, Цыхоновец.

За правое дело, за Родину, честь и свободу советский народ ответил двойным сокрушительным ударом за неслыханное вероломное нападение врага».

— Я буду ждать у ворот!.. У ворот, Сережа!

Далее:

«Указ Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязанных по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, Западному, Киевскому особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Московскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому, Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому военным округам».

Далее... Далее... Валька убежала давно...

— Дед, — говорю, — послушай.

«2 июля 41 года в 14 часов дня на заседании Московского юридического института, Герцена, 11, состоится публичная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Г. И. Федоткиной на тему... роль правовых идей во время Крестьянской войны в Германии в 1524—1525 годах».

— Дед, — говорю, — смех сквозь слезы. Дед, когда по Нострадамусу конец света?

— В сорок третьем году... В день Иоанна Крестителя... Через два года.

— Ни хрена... — говорю. — Ни хрена... Состоится защита.

— Не победили они тогда в Германии, — сказал дед. — Вот теперь сказывается.

Потом вечер дымный и кровавый. У ворот стояли все наши и Валька с матерью. Сережина колонна по нашему переулку проедет, он так узнал.

Грузовики загудели, колонна вниз по переулку пошла, Валька с тротуара кинулась. Последняя машина остановилась. Серега отскочил.

Стали мы его обнимать. Никто, кроме Клавдии, не плакал. Из машины кричат: — Пора! — дед Клавдию увел. Серега сына поцеловал.

Я говорю:

— За семью не бойся. Пропасть не дадим.

Он кивнул. Посмотрели они с Валькой друг на друга, и та ему на шею кинулась:

— А мне что делать, Сережа? Мне?!

— Живи.

Оторвал от себя ее руки и в машину полез. А с машины:

— Не забывайте! До свидания! Не забывайте!

Валька крикнула:

— Никогда!

А с машины:

— Девушка! Давай о нами!

Мать Вали говорит:

— Валечка... идем домой.

— Домой?.. А где он, дом? Мама, где он, дом?!

Заревел мотор, не заводится.

— Сережа, подожди! Сереженька!

Мать ее за плечи держит.

— Мама... прости...

— Валя!

— До свидания, мама... я вернусь!

Машина с места тронулась, Валька вырвалась, помчалась что есть силы и догнала ее. Схватила за борт. Цепляется, а машина-то все быстрее, у Сереги лицо потрясенное, а Валька не отпускает. Хочешь не хочешь, ее втянули в машину-то.

— Мама, я вернусь! Вот увидишь!

А мама ее — только за виски держится.

Будь ты проклят, фашист, кровосос бесплодный.

— Ничего, — сказал Витька, — все нормально... Так надо.

И повестку достает на свое имя.

Вот так. И умчалась их любовь чужую ненависть бить.

Мчатся машины. Состоится защита.

Машина по воздуху летает, и вместо сердца у нее пламенный мотор, и ихняя убивает и наша убивает, и ихняя игла штаны шьет и наша штаны шьет, и ихний молоток гвоздь вгоняет и наш гвоздь вгоняет, и вся суть в том, кто инструмент в руках держит и, значит, для чего в руки взял, и если молоток в руки взял, чтобы прокормить себя и своих, то ты человек и дело твое человеческое, то есть божественное, а если ты взял молоток, чтобы себя и своих над другими возвысить и надмеваться, то ты — кровосос и дело твое дьявольское.

И, значит, все дело в твоей цели, о которой знаешь только ты один и от других скрываешь.

И в этом вся суть.

И потому в сорок третьем до полной ясности все прояснилось и объявилось, и схлестнулись не машина с машиной, и не человек с человеком, и не войско с войском, а цель с целью и суть в сутью.

И человеческая правота сломала хребет дьявольской неправде.

И справедливый и страшный суд произошел и начался в 1943 году на Курской дуге, и началось отделение онов от козлиц, и это неостановимо.

И у них гибли люди, рожденные от людей, и у нас гибли люди, рожденные от людей, и ничем ихние люди от наших не отличались, кроме сути своих тайных желаний, кроме цели этой адской битвы.

И что бы потом ни возникло и как бы дела ни пошли, но честь и слава этого поворота в Страшном суде на веки веков, и ныне и присно, принадлежит нам и нашим, а не любому другому, даже самому наилучшему.

...Третий день идут жестокие бон, третий день уже в атаку ходим мы, третий день наш батальон идет вперед, но ни сон нас, ни усталость не берет. Песня такая.

Приезжал человек два дня назад и рассказал мне, как погибли Серега и Валя.

— Ты, главное, не думай, — говорит сосед по койке.

— Мне не думать нельзя... У меня внук растет, баловень.

— А дети твои?

У меня вчера еще раз сына убили, Сережу и его жену истинную на веки веков Валечку с четвертого этажа ти-ри-тири-тири вундербар из фильма «Петер»

на бумажном рулоне. Прощайте, детки мои, в сорок первом убитые. Медленно, медленно убивали вас в моем сердце, и настигла вас она, проклятая, позавчера, а я и вчера еще не верил.

В сорок первом попала их дивизия в окружение, и был бой в лесу, в стальном буреломе. Раненых пытались вывезти под Красным Крестом, но и в Крест стреляли. И дивизия гибла, и тихое болото было заминировано сплошь, и выхода не было, кроме одного.

Даже писать страшно.

Раненые слезли с телег и носилок, в кровавых бинтах, и запели Интернационал, и пошли через минное болото по взрывам, и бинты и остальное размазывалось на кустах. И когда утихла песня, по болоту ушли все живые и унесли знамя, а среди тех, кто пел, был Серега без руки и с ним Валя совершенно целая.

Прощайте, детки мои, в жизни, смерти и памяти неделимые.

Где взять силы?

Курская дуга. Вот он, год и день, и час.

Полторы тысячи танков, взрываясь, сшибаются только у одной Прохоровки во встречных боях.

Полторы тысячи танков в одной свалке — это невозможно себе представить, если знаешь, что такое один танк.

И в сорок пятом я еще жив и теперь знаю — Сережа — Сережа! Валечка!

И тогда раненые не захотели умирать бессмысленно, и тогда они постановили своим высшим судом сделать то, чего живые сделать не могут, и они пошли на минное поле, жертвуя собой.

Это было в начале войны. Туман на лугу, и от росы видны следы на траве. Передние шли, а с интервалом шли за ними их товарищи. А когда первый взрывался на mine или падал, скошенный пулей или осколком, то второй шел по этой кровавой лыжне, по кровавой тропе. Лес, луг, трава в росе, и трупы наших лучших товарищей, перебинтованных, раненых, в нижних рубашках... Вот слышите — некоторые еще живы, ползут по траве... Прощайте, товарищи. Это есть наш последний и решительный бой... Взрывы, взрывы... По своим костям идем... Народ вспомнит. Но как же я с этим жить буду?... Это есть наш последний... Снимите шапки... Прощайте... Помни, отец. Помните, дядя Петя... Помню, голубчики мои: Сережа и Валечка, помню, родные мои, жених и невеста, войной обвенчанные... Слышу, Валечка... слышу, Сережа... Все слышу... На Курской дуге все слышно... Все слышно...

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.

Жизнь моя, спасибо, что довелось увидеть это и понять.

Остальные же мои муки — как у всех остальных — и боль и страх неизбежные, и горе и горечь, как у всех. Жив, и ладно. И в общей беде душу мою убить могло бы только разочарование в сути самой.

Но этого не случилось.

Слава жизни живой, слава, слава! Адской же цели — презрение!

Оглавление

От составителя	2
Венский вальс	3
Корабли.....	14
Лысый бугор.....	25
Город под водой.....	33
Долгий путь через комнату.....	37
Мы к вам пришли	47
Корабль с крыльями из тополиного пуха	52
Грузовик	64
Другая сторона шоссе	68
Лошадь на морозе.....	75
Цель.....	96

Смотрите материалы о жизни и творчестве М. Анчарова на мемориальном сайте
<http://ancharov.lib.ru>